ВРЕМЯ И МЕСТО

Международный
литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выпуск 2 (30)

Нью-Йорк, 2014

ВРЕМЯ *и* МЕСТО
Международный литературно-художественный и общественно-политический журнал

VREMYA I MESTO
International Journal of Fiction, Literary Debate, and Social and Political Commentary

Copyright © 2014 Vremya i Mesto

Produced by *Shikhman Publishing*

Artwork on front cover by *Valeriy Belenikin*

Design and layout by *Alex Loskutov (Art40 Design & Print)*

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopy, or any other - except for brief quotations in printed reviews, without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from the journal, please call 718-815-5000 or email olga@flockusa.com

www.vmzhurnal.com

All rights reserved

ISBN: 978-0-9793240-8-6

Редакция не рецензирует присланные материалы и не гарантирует их публикацию.

Printed in the United States of America

Игорь Шихман, ***издатель и главный редактор (США)***

Редакционная коллегия:

Давид Гай - *зам. главного редактора (США)*

Ирина Басова *(Франция)*

Марк Вейцман *(Израиль)*

Руслан Галазов *(Испания)*

Нина Генн *(США)*

Максуд Ибрагимбеков *(Азербайджан)*

Надежда Кожевникова *(США)*

Давид Маркиш *(Израиль)*

Владимир Некляев *(Беларусь)*

Андрей Остальский *(Англия)*

Александр Половец *(США)*

Георгий Пряхин *(Россия)*

Семен Резник *(США)*

Михаил Румер-Зараев *(Германия)*

Марк Черняховский *(США)*

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ.....

ПРОЗА
ДИНА РУБИНА
Дом Этингера.....

ОЛЕГ ГЛУШКИН
Миниатюры.....

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР
Это странное чувство свободы.....

СЕМЕН КАМИНСКИЙ
Мама Пасюка.....

ИСААК ФРИДБЕРГ
Фанни.....

ПОЭЗИЯ
ГЕННАДИЙ КАЦОВ.....

ВАДИМ МОЛОДЫЙ
Альманах не для графоманов.....

РАФАЭЛЬ ЛЕВЧИН.....

СЕРГЕЙ ПОТЕХИН.....

ЕЛЕНА ТВЕРСКАЯ.....

ВЕРОНИКА АФАНАСЬЕВА.....

ДАНИЭЛЬ КЛУГЕР.....

АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ.....

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН.....

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
БОРИС РУМЕР
Парадокс Триффина.....

ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ
ЮРИЙ СОЛОДКИН
Его божеством было Слово.....

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
СТИВ ЛЕВИН
Мери - сестра Бабеля.....

ВЕЧНАЯ ТЕМА
МАРК ГИНЗБУРГ
Погромы в российской математике.....

СУДЬБЫ
ПАВЕЛ ИЛЬИН
“А вы из какого города?”.....

ИМЕНА В НАУКЕ
СЕМЕН РЕЗНИК
“Рефлекс свободы”.....

САРКАСТИЧЕСКИ-ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
МИХАИЛ ТУРОВСКИЙ
Афоризмы.....

АВТОР ОБЛОЖКИ
Гражданин Мира Валерий Беленикин.....

К ЧИТАТЕЛЯМ

Напомню: “Время и место” выходит уже восьмой год – срок для такого издания немалый. Делает журнал считанное число профессионалов – для перечисления хватит пальцев одной руки. Издание обрело себя, свое лицо, его аудитория расширяется, о нем пишут и говорят.

Мы сразу же вывели три правила, которым неукоснительно следуем: строгий критерий отбора рукописей, заслон графоманам, никакой рекламы. Придумана форма сменных цветных обложек: воспроизводятся работы художников-иммигрантов. Журнал, таким образом, стал отличаться от всех подобных изданий как в зарубежье, так и в России, привлекая взоры внешним видом.

И нельзя не согласиться с одним критиком, который, говоря об идее, с которой наш журнал вошел в культуру русского зарубежья, определил ее как идею возвращения к подлинности – той подлинности, что противостоит незатейливой игре, заданности, имитации правды, губящих литературу. Подлинности, подразумевающей искренность, исповедальность, обращение к вечным темам любви и смерти, бегство от пустоты повседневности. Под таким флагом идет журнал к своему читателю в США и ряде других стран, таково его время и место.

В самое ближайшее время содержание журнала, а также отдельные тексты можно будет видеть на популярном российском портале “Читальный зал”…

Резонный вопрос: как удается держать уровень издания на определенном высоком уровне? (об этом свидетельствуют многие ваши письма, звонки, “имэйлы”). Ответ прост: вокруг издания сформировалось ядро заинтересованных в его успехе литераторов, вошедших в редколлегию, и просто активных читателей. Без их помощи мы бы мало чего добились.

С самого начала нам активно помогали известные писатели, прежде всего, Семен Резник, любимая многими Дина Рубина, обещавшая отдавать именно нам главы своих новых произведений до выхода их книгами, собратья по перу из Чикаго Евсей Цейтлин и

Рэм Никифорович (к глубокому сожалению, не так давно скончавшийся); чуть позже нашими полпредами стали: в Израиле – поэт Марк Вейцман, в Германии – публицист Михаил Румер-Зараев, в Англии – прозаик Андрей Остальский, во Франции – поэт и журналист Виталий Амурский… Члены редколлегии находили талантливых авторов, уже известных и только начинающих тернистый путь в литературе.

Неоценима помощь Ильи Граковского, ведущего на американорусском телевидении RTN раздел литературы. Благодаря его усилиям и поддержке руководства популярного телеканала мы имеем возможность раз в квартал обозревать очередной номер журнала.

Особо радует участие в нашей работе подписчиков. Я не оговорился – именно участие. Они тоже подсказывают интересных авторов. Так, благодаря жителю калифорнийского Сан-Диего Борису Евтееву мы опубликовали большую подборку стихов живущей в Израиле Ирины Рудневой… Жанна Литвак вывела нас на отличного московского писателя Юрия Кривоносова…

Первым подписчиком журнала стал уроженец Грузии, житель Нью-Йорка Юрий Наткович, он и по сей день первым подписывается на выпуски журнала следующего года. Мы ценим поддержку доктора Евгения Орлова, бизнесмена Леонида Михлина. Список друзей нашего издания я мог бы продолжить…

Спасибо всем вам, друзья!

Игорь Шихман,
издатель и главный редактор

ДИНА РУБИНА

ДОМ ЭТИНГЕРА

Окончание. Начало в номере 1 (29) 2014

5

Под старость, однако, Большой Этингер совсем съехал с рельсов, точнее, встал на свои особые невидимые рельсы, по которым помчался вдаль - но не вперед, а вспять, в детство, в домашние субботние застолья, когда отец пел своим колосящимся золотым тенором еврейские, русские и украинские песни…

Постепенно он и вовсе оставил разговорный жанр позади, в мелькнувших пейзажах минувшей жизни. Полностью перешел на пение. Пел, обращаясь к Стеше, и редко теперь появлявшейся дочери; пел, ругаясь с соседями, пел, встречая на улицах знакомых, которые с грустным сочувствием выслушивали этот концерт.

Невозможно точно сказать – когда он заработал кличку «Городской тенор». Но заработал самым буквальным образом: уходил из дому с утра, возвращался вечером – сытый, бывало, что и выпивший (в портовых пивнушках угощали пивом и колбасой грузчики-банабаки, моряки и докеры). Часто давал импровизированные концерты перед гуляющей в парке публикой…

Удержать его дома не было никакой возможности. Время от времени Стеше удавалось уложить его в психбольницу – там, по крайней мере, он был под приглядом. Ну не хватало у нее ни сил, ни времени бегать следом за беспокойным стариком!

К тому же, она вдруг очнулась, и в отсутствии большого дома и больших забот решила «сделать жизнь, как люди», – стала ездить кондуктором прицепного вагона на девятнадцатом трамвае. Тот шел от Шестнадцатой станции Большого Фонтана до Дачи Ковалевского, был однопутным, с разъездом возле остановки «Санаторий «Якорь». И так ей это дело пришлось по душе: сиди себе, обилечивай входящих, за публикой присматривай – кто там

зайцем тырится…А когда двери закроются, дерни скобу над головой – это сигнал ватману, водителю моторного вагона: давай, милай, трогай!

Связи в трамвайном парке и в войну ее выручили: знакомые помогли устроиться проводницей на поезд Одесса-Москва. В городе жрать было нечего, а так – дорога длинная, бывало, кто из пассажиров угостит, бывало, на станции перепадет то-другое…Однажды в Москве на вокзале удалось им с напарницей выторговать селедку, одну на двоих. И так ее съесть захотелось! Поделили пополам, бросив жребий: Стеше достался хвост, напарнице – голова. А селедка оказалась протухшей. Блевали всю дорогу обе кровавой рвотой. Стеше еще повезло, с хвостом-то. А вот напарница не выжила…

Она слегка огрузла, стала пышнее, ярче. Льняная коса сияла над алебастровым лбом, удивительно благородным при столь «запоздалой голове». Постаревший Сергей - он превратился в осатанело злого управдома, - уже не сватался (женился на молдаванке из села), но приставал по-прежнему: однажды вошел следом за нею в подъезд и пробовал прижать в углу. Она просто положила руку на его редкозубую пасть, из которой тошно несло махоркой и перегаром, и с силой отвернула к стене, да и пошла вверх по лестнице, не оглядываясь. Пока Яков Михайлов обитал где-то там, на столичных высотах, пока можно было, как оберег, твердо произнести его не блескуче-газетное, но крепкое имя, Стеша никого не боялась.

А Гаврилу Оскаровича люди и так не обижали. Мальчишки, конечно, дразнили, посвистывали вслед, но никаких безобразий, боже упаси. Уж очень он представителен был, и на вид вполне силен. К тому же, по-прежнему свободно и машисто шагая, так убедительно поигрывал тростью с горящим на солнце «балдахином», *на фортиссимо* обещая особо приставучим насмешникам догнать и «всадить клино-о-ок!!! в ваше трусливое се-е-е-ердце!!!», - что желающих проверить не находилось.

Когда он появлялся на Привозе, торговцы из окрестных сел пересказывали друг другу его *доподлинную* историю: «Городской тенор», мол, - это знаменитый оперный певец, рехнулся с горя, когда его невеста, итальянка, певица, покончила с собой (прыгнула с обрыва – одни лишь круги по воде). С тех пор живет, безутешный, в катакомбах, питаясь отбросами, а в трости у него запрятан сверхточный пистолет. И если что не по ём… Ну и все такое прочее…

Словом, Большой Этингер по-настоящему воспарил: он стал частью городского фольклора: как Дюк Ришелье, как «Броненосец «Потемкин». Как ссыльный поэт Александр Пушкин.

***

На все эти обстоятельства как раз и пришелся злополучный Яшин визит. Возвращение…- ну, может, и не возвращение, а так, прогулка до ридной хаты - блудного сына. Как говорят в Одессе: не будем объяснять за картину художника Рембрандта, ее репродукцию видали все.

Трогательной встречи, к сожалению, не вышло (тут приходится верить свидетельству Стеши). Безумный отец не «пал на шею» сыну, не ощупал дрожащими руками согбенную спину бродягичекиста.

В ошеломляющих моментах жизни в доме Этингеров всегда повышался звуковой барьер: словно ангелы судьбы вразнобой продували трубы, готовясь пропеть солдатскую зорю Страшного суда. Но тут умолкли трубы, уступив звучанию драматического тенора отца.

И поскольку в оперном жанре трагические повороты сюжета подчас сопровождаются речитативом, то и в нашем случае мы считаем уместным перейти на торжественный речитатив:

В тот высокий миг,
простерши руку оперным жестом,
Большой Этингер пропел свою главную партию:
взбираясь голосом все выше,
закончив в грозном исступлении – на фортиссимо!!! -
он проклял Яшу, блудного сына,
сына своего блудного, Якова, проклял он!
Проклял!

6

А Эська разъезжала все предвоенные годы. Разъезжала так много, что когда засыпала на убитом матрасе железной койки, где-нибудь в утлой комнате Дома колхозника или в безликом номере провинциальной гостиницы, - в ушах ее, то накатывая, то отдаляясь, шумел стук колес железнодорожного состава.

Она аккомпанировала танцовщице, бешеной испанке с ослепительным именем Леонор Эсперанса Робледо, - отчаянно смелой, и

до известной степени даже дикой, чье безрассудство распространялось на все, кроме самолетов - тех она до дрожи боялась. Так что, колесили по трое, по четверо суток, а когда ездили на гастроли по городам Сибири, то и вообще, неделями не видали ничего, кроме мелькания шпал, редких фонарей, кособоких деревянных домишек, дощатых сараев и бесконечной, угрюмо-зеленой полосы матерой тайги.

Разъезжали втроем: бешеную испанку сопровождал муж, профессор, этнограф, известный испанист Александр Борисович, Саша: угловатый и костлявый, нервный человек, который, собственно, и привез ее из Испании, из какой-то своей этнографической экспедиции.

Это все как получилось: однажды утром, во время занятий с вокалистами, позвонила в училище обезумевшая Надежда Ивановна Полищук, администратор филармонических программ, срочно-слезно вытянула Эську прямо с урока, и чуть не рыдала в трубку: мол, спасайте, Эсфирь Гавриловна, христом-богом прошу, а когда-нить и я вам пригожусь.

- Да что, что такое, кого спасать?

– Ну-тк, приехала с концертом испанка-танцовщица, а вчера ее концертмейстер - женщина полная, сильно в возрасте, та еще гипертоничка, - дуба тут нам преподнесла!.

- Ка-а-ак?!

- Да вот так, пошла в гостинице помыться с дороги, а уж из душа ее всем персоналом выволакивали. А нам-то что делать? Билеты все проданы, аншлаг, вы ж понимаете - Испания, но пасаран, и я вас умоляю. Публика же сочувствует…

- Ну, хорошо…- в замешательстве пробормотала Эська. - Но… почему непременно - я?

- Та вы смеетесь? Там программа технически жутко сложная. Ну, кто в Одессе, кроме вас, с листа читает, как сама сочинила?!

…Сыграла, конечно; программа не то, чтоб особо сложная - уж не Бетховен и не Лист. Но беглость чтения понадобилась. Эська слегка напряглась, шпаря на скорости все эти болерос-севильянос; на танцовщицу смотрела даже не краем глаза - а так, бликом зрачка, отмечая внезапные остановки или вихревые закруты алой, с черными воланами юбки. Испанка оказалась не типичной: высокая, худенькая, пышные каштановые волосы с красноватой искрой, обжигающе зеленые глаза - прямо ирландка какая-то! После концерта за кулисами налетела на Эську, стиснула в свирепых объятиях, бормоча, как безумная: «Диос, Диос!!!» …- еле отбилась от нее.

А на другой день вечером явились прямо на квартиру, да с цветами: нарядная щебечущая испанка (ни словечка по-русски), и ее нескладный, несуразный, некрасивый, очень церемонный муж. Солидное деловое предложение вывалили с порога - не дождались, пока Эська цветы в вазу поставит. Она рассмеялась и сходу легко отказала - что? кочевая жизнь? чепуха! да и как бы она бросила своих вокалистов, беспомощную Стешу, нездорового папу? нет, это полное безумие!… (поиск вазы рассеянно продолжался, огромный букет заслонял крошечную Эську от гостей).

Тогда они просто повалились в ноги, - профессор метафорически, а испанка буквально: рухнула перед Эськой на колени, стала ее руки ловить-целовать…Та ужасно испугалась, выронила букет, вырвала руки, и беспомощно ими всплескивая, заметалась по комнате.

- Что, что она говорит? - в смятении спросила она сумрачного мужа испанки. Тот криво усмехнулся, как бы со стороны наблюдая эту картину:

- Говорит, что покончит с собой…У нас, понимаете, если вы отвернетесь, летит к чертям огромная гастроль: Урал, Сибирь, Дальний Восток…- и добавил глуховатым голосом, явно преодолевая себя: - Мы вас, Эсфирь Гавриловна, просим о милости, о душевном подвиге. А я так просто умоляю - тут вся моя жизнь на кону. Это ведь не она должна на колени становиться, а я, именно я.

Эська ночь не спала, а когда поднялась, с головной болью и совершенно безумным, ни в какие ворота не лезущим, безответственным легкомысленным решением – взять за свой счет отпуск на три месяца, на время этой их чертовой, свалившейся на ее голову гастроли, - то обнаружила, что Стеша на кухне уже выглаживает складочки и оборки венского гардероба. Парусиновый саквояж на стуле в ожидании раззявил пустую утробу…

- Нет-нет, - буркнула Эська хмуро, запивая таблетку пирамидона вчерашним чаем. - Ничего такого банкетного не возьму. Там дело дорожное, бивуачное, мытарства всякие… грязные караван-сараи, черт бы меня побрал! К тому ж, блистать на сцене должна она, а не я. Сложи две юбки попроще, ну, и пару блузок поскромнее.

***

Что поражало ее в испанской танцовщице: жизненное воплощение прославленного литературного типа. Это была Кармен в чистом виде, Кармен, что подзадержалась в утомительном для нее браке с Хосе. Удивительным также было и то, что Леонор

Эсперанса и сама полностью отдавала себе в этом отчет, довольно часто цитируя Меримэ в насмешливом обращении к мужу: «Ты - настоящая канарейка одеждой и нравом! И сердце у тебя канареечное…» Впервые услышав эту цитату на испанском, и мысленно, в несколько прыжков произведя ее на русский (в то время она понимала по-испански уже гораздо лучше, но все же отнюдь не каждое слово), Эська скромно заметила, что дома у нее много лет живет канарейка по имени Желтухин, и это отважная певчая птичка, которая дарит одну только радость.

Испанский она была просто вынуждена одолеть, хотя б на бытовом уровне, дабы вовремя предотвращать ежеутренние скандалы, когда на весь коридор гостиницы где-нибудь в Кинешме или Тамбове раскатывался вопль проснувшейся Леонор Эсперансы: «Кофе! Я что, должна умолять о кофе?!»

Неизвестно чем таким особо художественным прославилась испанка дома, не то в Арагоне, не то в Эстремадуре, - судя по ухваткам, накручивала румбу в каком-нибудь кафешантане. Оказавшись в Москве, довольно ловко сочинила себе разнообразную танцевальную программу из нескольких танцев, которые за неимением партнера исполняла solo. Во всяком случае, Эська, ранее считавшая фламенко чуть ли не единственным танцевально-вокальным выражением испанского духа, убедилась в существовании и горделивого пасодобля (Леонор исполняла его в костюме тореадора), и торжественной арагонской хоты, и плавной муньэйры (которую, вообще-то, - как объяснила Леонор - правильно танцевать под волынку), и даже страстного болеро, вращавшегося вокруг оголенного пупка танцовщицы…Ну и фламенко, само собой - зрители не перенесли бы этой зияющей пропажи, - фламенко, в котором Леонор играла взбесившейся красной юбкой, вначале раздувая неукротимое пламя, потом его неистово гася…

Публика, очень в эти годы *происпаненая* в своих симпатиях, сопровождала ее танцы ритмичными хлопками, восторженными выкриками и - в зависимости от культурного уровня зала, - прочими букетно-цветочными проявлениями восхищенной любви. Бывало, после концерта в артистическую уборную вносили безымянную корзину цветов, которую потом Леонор требовала возить за собой по всему маршруту гастролей до полного, пыльного и бесславного ее умирания где-нибудь в купе очередного поезда...

Этнограф мучился ревностью, на взгляд Эськи, тоже несколько литературной, но не безосновательной. Наезжая в Москву в коротких перерывах между гастролями, они жили на даче в Загорянке (свою квартиру профессор оставил жене и дочери). Испанка разгу-

ливала по дому голой, и голой выходила в сад, украшая себя листьями лопухов и развесив по золотым плечам золотистые гроздья винограда: фрукты ей присылал корзинами поклонник, некий крупный чин в исполкоме.

В минуты раскаленных раскатистых семейных скандалов она завораживала своей пластикой: все ее тело разворачивалось кольцами навстречу обидчику в яростно мелодичной, оскорбительной тираде, в которой змеиное жало языка поддерживал плавный выпад гибких рук, а презрительная упряжка трепещущих бровей неслась вскачь над ледяным зеленым пламенем глаз.

Этнограф сходил с ума от ревности…

Несколько раз на гастролях Эська попадала в сердце семейного тайфуна, когда интеллигентный Александр Борисович, доведенный женой до исступления, коротко и наотмашь бил испанку в лицо, так, что та падала на пол, картинно и удовлетворенно раскинув руки. Эська же вскрикивала, точно ударили ее, а не Леонор, и убегала куда-нибудь, и скрывалась по три дня - в гостинице, у случайных знакомых, или снимала комнату у старушки в частном секторе…

Репетиции прекращались, но перед самым концертом ее разыскивали. Являлись, держась за руки, дружные и веселые *молодожены* - Кармен с Хосе, обнимали Эську, целовали и уволакивали с собой.

Собственно, тяжелый и вспыльчивый Александр Борисович со своей легкомысленной Леонор Эсперансой стали в эти годы ее бродячей семьей. И если б для некоего умозрительного летописца ее скудной биографии понадобился символ, то она таковой назвала бы немедленно: кипятильник! Ибо с утра до вечера Александру Борисовичу и Леонор нужны были прямо противоположные вещи: ей - кофе, ему - отвар ромашки для больной почки. Ей - свиная отбивная, ему - овсяная кашка. Ему - тишина для сосредоточения над какой-нибудь статьей, ей же – музыка, гром и топот, треск кастаньет, папиросы и бутылка вина, а к вечеру напряжение всех мышц, чувств и нервов – и так до самой ночи, до непременного взрыва, до ее хохота, до его крика, до…хотелось бы написать – выстрела; нет, всего лишь пощечины.

Однажды деликатная Эська предприняла решительную попытку серьезного разговора с этнографом. Потом пожалела: выбрала не тот момент. Александр Борисович к вечеру часто бывал навеселе, много шутил и ничего не принимал всерьез. Вот и тогда, выслушав ее мягкие увещевания, горько ухмыльнулся и, перегнувшись

через стол, сказал приглушенным голосом:

- Дурак я, Эсфирь Гавриловна! Вы видите перед собой отчаянного и жалкого дурня. Все дела у меня в загоне, жизнь запущена так, что страшно в нее заглядывать.

Они сидели на уютной, с цветными стеклышками в оконных переплетах веранде дома писателей (некогда усадьбе каких-то сгинувших князей - то ли Голощекиных, то ли Щербацких), куда их на время турне по городам Ленинградской области (благо, не сезон!) удачно пристроил всемогущий администратор филармонии Миша Туркис.

- Вот увидите: меня скоро вышвырнут из Академии…Умом я понимаю, как поступить, но сердцем смириться не могу. Воли нет…А знаете, что надо бы мне сделать? Отправить ее назад, в ее Эстремадуру, жениться на вас, и зажить прекрасной и достойной нормального человека жизнью.

Эська, которая, вообще-то, уже давно считала точно так же, но никогда в жизни не позволила бы себе ни единого встречного шага, немедленно посмуглела розоватым румянцем, но сдержанно и благородно отвечала ему, чтобы не отчаивался: все наладится. С Леонор нужно только терпение, и все наладится.

- Ничего не наладится! – грубовато оборвал ее этнограф.

***

С этой чокнутой парочкой и застала Эську война - в городе Кирове.

Этнограф бросился на призывной пункт, и - что явилось полной неожиданностью для обеих женщин, - его-таки призвали. Призвали, несмотря на астму, единственную почку и псориаз, чудовищно расцветший с известием о начале войны.

Дня два перед объявленной датой отправки эшелона он деятельно и даже как будто увлеченно приводил в порядок свои записи, разработки и статьи, раскладывал все по конвертам, надписывал адреса, по которым Эське следовало их отправлять (в последние лет пять она, со своей обязательностью и деловой опрятностью превратилась еще и в секретаря этнографа).

В последний вечер перед отправкой профессора на фронт, они втроем долго и задушевно сидели в гостиничном номере за бутылкой вина, дружно пели испанские песни, мечтали, как все повернется после войны: надо полагать, разрешат гастроли заграницу - ведь Испания наверняка будет освобождена от фашистов!

- Девушка, подари мне гвоздику твоих губ, -
а я подарю тебе бубенчик…

- …негромко затянула Леонор старинную серенаду «Клавелитос», ту, что обычно исполняла на «бис». Пела, склонив к плечу голову, будто прислушиваясь к собственному голосу. Ее тонкая смуглая рука медленным стеблем проросла вверх, гибкая кисть вздрогнула и зажила отдельной жизнью – то безвольно сутулясь, то раскачиваясь змеиной головой, то резко распрямляясь, как распятая…Левой рукой она похлопывала по столу, размечая ритм…

- Я подарю гвоздики, гвоздики моего сердца,
и если когда-нибудь я больше не приду,
не думай, что я разлюбил тебя …

Поднялась и закружилась вокруг стола, то прищелкивая пальцами в такт песне, то умоляюще протягивая к мужу обнаженные руки; выводила мелодию печальным контральто, на окончаниях фраз роняя голос до любовного полушепота…

- Когда я увидел впервые твои губы цвета вишни
и гвоздику в твоих волосах, -
мне померещилось, что я узрел кусочек рая…

Эська перевела взгляд на застывшее лицо Александра Борисовича, и поняла, что ей пора к себе…

Наутро после этого чудесного вечера Эська проснулась, села на кровати, и, опустив босые ноги на пол, угодила в лужу давно холодной крови…

Почему этнографу вздумалось резать вены у нее в комнате, в темноте; что случилось меж ним и испанкой ночью, почему он не решился разбудить Эську в черную минуту нестерпимого отчаяния, и как умудрилась она не услышать его последних хрипов… - все это осталось совершенно необъяснимым. В голове у нее был туман, ужас, бестолковщина… Словом, «полный каламбур!».

Потом она гонялась за бешеной Леонор Эсперансой, которая бегала по всей гостинице с кухонным ножом, громко обещая вонзить его в свою грудь; договаривалась о похоронах и унимала вопли обезумевшей Леонор вослед гробу, утонувшему в недрах суглинистой ямы.

Затем полтора месяца они добирались в Москву, в надежде на помощь и покровительство того высокого чина, что присылал когда-то Леонор корзины фруктов…Но чина на месте не застали - это были те первые страшные недели войны, когда столичные начальники драпанули из Москвы в позорной панике.

Но оказалась на месте и приютила их в коммуналке на Кировской Эськина гимназическая подруга, она служила тихой архивной мышью в каком-то архитектурном учреждении.

На беду Леонор заразилась в поезде тифом, и недели три провалялась в больнице: металась, вытаращивая мутные зеленые глаза и горячо выдыхая в бреду: «Алехандро! Алехандро!» - и что-то еще неразборчивое - покаянным истерзанным плачем…Эта Кармен, как выяснилось, любила своего Хосе.

Главное же, во всей неразберихе и бестолочи Эська не могла добиться известий из Одессы: что с папой и Стешей, как они и где, смогли ли эвакуироваться. В эти, примерно, дни подруга получила от родителей какое-то беспомощное стариковское письмо, добиравшееся три недели, из которого ясно было только, что эвакуироваться из обезумевшего от страха города смогли те, у кого «литер», «бронь», «вызов», или деньги на бешеную взятку; но и это не всех спасало, потому что корабли подрывались на минах чуть не у берега; что Одессу бомбят, а бомбоубежищ не хватает, так что пережидать налеты лучше всего в подворотнях; что немцы отрезали водовод из Днестра, воды нет, а жажда страшнее голода…Что многие их соседи уже открыто говорят, - мол, бояться нечего, немцы только жидов убивают, а людей не трогают…

Мучаясь неизвестностью, отлучаясь от истощенной Леонор только по необходимости, Эська в один из дней встретила в трамвае Мишу Туркиса, администратора филармонии, от которого узнала, что создан штаб фронтовых бригад при ЦДРИ.

- Как раз сейчас формируют коллективы, и вы успеваете, Эсфирь Гавриловна. Только явитесь завтра пораньше, к десяти, я словечко замолвлю, и ваш ансамбль внесут в списки и поставят на довольствие…

Так и завертелось…

Лысая после тифа, слабая и худая до жути Леонор Эсперанса Робледо, потрескивая кастаньетами в поднятых, тонких, будто ивовые прутики, руках, вяло топотала каблуками спадавших с нее концертных туфель по полу коммуналки на Кировской; очередная концертная бригада через неделю выезжала куда-то на Западный фронт, в Первую армию военно-воздушных сил.

Программы таких бригад сбивались на скорую руку по принципу сборной солянки: сценки, монологи, цирковые номера, чтецы-декламаторы и певцы с легким оперным и опереточным репертуаром (вот бы где процвел папа с его неумолчным пением!). Ну и требования к артистам предъявлялись соответственно обстановке: собранность, мобильность, психическая устойчивость – выступать-то приходилось чуть не на передовой, а уж сценическая площадка подворачивалась всюду: под открытым небом на лесных полянах, на палубах военных кораблей, на аэродромах, в землянках, в медсанбатах и госпиталях…

Для Леонор из костюмерных недр филармонии был извлечен жесткий оранжевый «парик парубка», явно забракованный какимнибудь танцором ансамбля украинских народных танцев, - другого не нашлось. И - странно, может из-за парика, - ее густые каштановые, с золотом, волосы никак не отрастали; Эська считала, что в ослабленном организме не хватает кальция. Собственно, они так и не успели отрасти, ее дивные волосы, – но сейчас не об этом речь. Пока же Леонор вообще не снимала с головы дикой цирковой пакли; стеснялась, ненавидела себя - лысую. Поэтому, до концерта командиры со словами «товарищ Робляда!» (так их языки, привычные к мату, невольно переиначивали иностранную фамилию артистки) - обращались именно к Эське. Жгучие смоляные, с редкой проседью, кольца ее волос наводили на мысль об Испании скорее, чем «парик парубка» самой что ни на есть природной испанки Леонор Эсперансы.

Вот рояль пришлось сменить на аккордеон, это да, и, бывало, кое-кто из бойцов жалостливо предлагал маленькой и хрупкой Эське помощь в растягивании мехов, на что она только усмехалась, по-грузчицки вздергивая плечо с ремнем…

В скудости их театрального реквизита был даже некий стиль: занавес, хлипкий стул для аккордеонистки, лист фанеры для танцующей Леонор…

Иногда автобус или грузовик, привезший артистов в расположение какой-либо части, не доехав, останавливался прямо на дороге, по которой войска перебрасывались к фронту, и тогда спешно выбиралось на обочине место поровнее, раскладывался лист фанеры, артисты переодевались прямо там же, на траве, никого не стесняясь, и все эксцентрико-акробатические номера, все пластические этюды и танцы, проходящие мимо бойцы наблюдали искоса, смущенно улыбаясь.

… За два месяца, проведенных на Западном и Калининском фронтах, они проехали с бригадой тысячи километров и дали чуть не двести концертов. Всю жизнь потом, оформленная в рамочку под стеклом, на стене у Эськи висела грамота от военного командования: «Музыкально-танцевальному коллективу товарищам Этингер-Робледо за самоотверженную отличную работу на фронте в непосредственной близости от переднего края».

Странно, что больше помнились не дни, а именно ночи – они часто выступали вечерами и по ночам, в блиндажах, освещенных гильзами от снарядов, полными бензином, с торчащими из них тряпками-фитилями.

Помнилось черное прекрасное небо в огненной сетке трассирующих пуль, в россыпи зеленых пугающих звезд.

Небо - обмелевшая к рассвету бездна стыда и нежности, - бездна, что единственный раз они вычерпали вдвоем…

***

Ту последнюю ночь им выпало провести недалеко от Торжка, в здании бывшей школы, переоборудованной под госпиталь.

Концерты в госпиталях считались у артистов фронтовых бригад большой удачей: там можно было вымыться, по-человечески поесть и выспаться в нормальных койках на чистых простынях. И, что ни говорите, - бог с нею, фронтовой романтикой, - выступать приятней на настоящей сцене в актовом зале, пусть даже весь он плотно заставлен рядами коек, а стоны раненых и бредовая матерщина заглушают даже ревущий басами аккордеон.

Вечером после концерта персонально для артистов протопили баню во дворе. Тесная банька, втискивались по трое, наскоро намыливались, – понимая, что там, снаружи дожидаются своей очереди мужчины. Все равно – блаженство, роскошь, нечаянная радость…

Чуть не всю парную своими грандиозными дрожжевыми телесами заполнила Мария Онищенко, исполнительница романсов. Казалось, вся она обвешена мешками: мешки грудей, мешок живота, туго набитые мешки могучего крупа…

Худенькая и гибкая Леонор огибала Марию с танцевальной ловкостью, как в пасодобле тореадор огибает быка; как узкая фелюка огибает головное судно китобойной флотилии. Эська же скорчилась в углу скамьи, - полоскала в поставленной на колени шайке гриву ассирийских кудрей; никогда ничего не могла поделать со своей несчастной застенчивостью.

- Дай, помогу! - сказала Леонор, склонясь над ней. - Закрой глаза… - подняла шайку с Эськиных колен, и будто всю жизнь мылась исключительно в русских банях, одним махом окатила ее голову водой.

Вытирались и одевались в малюсеньком предбаннике, истомно отдуваясь, задевая друг друга локтями и ягодицами, и Эська норовила побыстрее натянуть кофточку, что застревала и не раскатывалась на влажном теле.

В конце концов, Леонор фыркнула, развернула ее лицом к себе, и проговорила:

- Эстер! Почему ты забиваешься в угол, как хромая нищенка! Если б у меня была такая великолепная грудь, я б ее предъявляла вместо паспорта!

- Что она говорит? - поинтересовалась раскрасневшаяся, влажная, вся в капельках пота, полуголая Мария. - Почему она сердится?

- Она не сердится…- смутившись, пробормотала Эська.

После ужина пожилая медсестра с усталыми глазами в набрякших веках повела их устраиваться на ночлег. И пока поднимались на второй этаж по широкой школьной лестнице, она виновато повторяла, то и дело приваливаясь спиной к деревянным перилам, отполированным задницами нескольких поколений учеников:

- Девочки, дело такое, у нас коечный фонд небольшой, а раненых полно. Вчера привезли два грузовика, позавчера - три. А коечный фонд - совсем, совсем небольшой…Ничего, если двое на одну койку лягут?

- Эт за ради бога! – захохотала довольная, все еще красная, как пожар, Мария. Понимала, что к ней никто не попросится. - Кому со мной лечь охота, девочки?

- Просто, у нас коечный фонд небольшой, - оправдываясь, повторила медсестра, - а раненых полно, прям катастрофа…

- Что это - «коэчни фонд»? - спросила Леонор.

- Нам придется спать в одной постели.

- Всем?! – в ужасе воскликнула та, и почему-то все женщины правильно поняли этот ее возглас, и долго смеялись над оторопью бедной танцовщицы, громче всех - добродушная Мария…

…Эта испугавшая, озарившая ее, все в ней перевернувшая ночь стала единственной потаенной драгоценностью, которой она оставалась верна всю жизнь…

Прильнувшее к ней горячее тело Леонор, от которой, вздрогнув,

она, в начале, смятенно отпрянула… и к которой потянулась, едва могучий храп Марии Онищенко сотряс грядку стаканов на подносе. Благословенный храп - он обнес их узкую койку шумовой завесой ночного водопада, отделяя ее и Леонор от истасканной вечности разом съежившегося мира…

Со временем ее память навела на воспоминания об этой единственной ночи иконографическую резкость. Она столько раз перебирала в уме все те непроизносимые касания, жаркий стыд, изумленное счастье, заикающийся шепот на испанском и на русском, и округлое движение горячей руки Леонор, с невыносимой нежностью высвобождавшей из примятых и спутанных, еще влажных после бани Эськиных кудрей - (pecho- pecho- pecho - presioso pecho!)- ее грудь…

Позже, когда прямоугольник вызревающего окна стал тоскливо подтекать рассветом, остужая их общее сердцебиение и разлучая томительно переплетенные пальцы, Леонор отерла ее слезы ладонью и прошептала:

- Сегодня Великий четверг…Сегодня у нас женщины выходят в кружевных мантильях, в высоких гребнях, все в черном…

Ее дерзкий профиль на подушке, со слабым мальчишеским ежиком надо лбом, казался почти прозрачным на фоне зеленоватого неба в окне.

***

В этот день под вечер их доставили на аэродром близ какой-то деревни - к тому времени Эська уже не запоминала названий сел и деревень, номера полков и обозначений родов войск, - попробуй, упомни все после пяти концертов в день!

Но везде их старались подкормить. Там, в летной части, на краю большой поляны артистов ждал уже накрытый стол - попросту дверь, снятая с петель и уложенная на врытые в землю бревнышки. Тушенка, хлеб, немного спирта и - настоящий сюрприз - только что сваренная, исходящая слезным паром картошка!

То, что летчики - элита армии, заметно было по командирам: она всегда мысленно отмечала это даже не словами, а чувством - с ними хотелось поговорить. В те мучительные дни ее тянуло поговорить с людьми, которых папа когда-то называл «нашим кругом», а она сердилась на его слова, и требовала, чтобы он уточнил приметы этого самого «нашего круга». Теперь, вот, понимала…

И здесь тоже оказался лейтенант - некрасивый, с оттопыренными под фуражкой ушами, с небритым обезьяньим надгубьем, но

такими быстрыми и «говорящими» глазами, что все время хотелось на него смотреть, - да он и показался ей ужасно знакомым…Минут пять они коротко поглядывали друг на друга через импровизированный стол (лейтенант будто ждал, когда она заговорит первой), - наконец, слегка подался к ней и негромко спросил:

- Неужто изменился так, Эсинька?

Выждал две-три секунды, с улыбкой глядя на ее, вспыхнувшее неуверенной улыбкой озадаченное лицо, и подсказал:

- Дача на Большом фонтане. Репетиции «Двенадцатой ночи» в пустом дровяном сарае, а дрова мы выкинули. Я шута играл, потому что умел ушами шевелить…- снял фуражку с лысеющей головы, приготовившись доказывать примером. Но она уже вскрикнула:

- Миша! Миша Сапожников! Господи, как же я сразу!…а что…но почему же?…

И волнуясь, заходясь от радостного смеха под взглядом сидящей рядом, ничего не понимающей Леонор, они с Мишей, некогда вихрастым толстым мальчиком, сыном владельца «Коммерческой типографии Б. Сапожникова», на Ришельевской, 28, - принялись вперегонки перебирать имена, фамилии, чьи-то дурацкие шутки и дурацкие фокусы.

И на его словах: «…А что было делать? я уехал к тетке в Белосток, там принимали…» - вдруг забухали, залаяли неподалеку зенитки, из-за леса взмыли пять легких игрушечных «юнкерсов», на лету роняя козьи орешки…Летчики повскакивали из-за стола, и отрывисто что-то крича, побежали к самолетам…

Земля гулко дрогнула, еще, еще раз, вздыбилась, и пошла ухать и корчиться в нутряном подземном и небесном гуле: все слилось - лай зениток, взрывы, стрекот пулеметов…

Один из «юнкерсов» снизился, и на бреющем полете полетел, прочесывая из пулемета, лес и аэродром…

И все произошло очень быстро, просто и непоправимо. Все заняло две-три минуты.

Леонор схватила ее за руку, и они побежали куда-то в сторону черного леса на окраине аэродрома, что возникал и снова гас пульсацией вспышек во взрывах снарядов. Они бежали, а картавый гороховый грохот догонял их, расстреливая землю вокруг и выдирая клочья травы с дерном. Вдруг Леонор остановилась, обернулась к Эське, словно забыла сказать что-то важное, и вот вспомнила, наконец, и непременно сейчас скажет! Яркий свет обезумевших ее зеленых глаз полоснул Эську по сердцу с ночной, разом пыхнув-

шей силой. Швырнув ее на землю, - так что Эська ударилась головой и спиной, на мгновение даже потеряв сознание, - Леонор упала сверху, прижав ее к влажной дурманной траве неожиданно властным, каким-то мужским телом.

Эська покорно лежала, открыв глаза в бурное небо высоко над плечом Леонор. Небо содрогалось и билось черным звездчатым скатом в сетях летящих снарядов. Никогда больше, даже в дни салютов, она не видала более праздничного, более упоительного зрелища…

Грохот и трескотня приблизились так, что изрешеченный свинцом воздух стоял вокруг них плотной стеной, изгвазданной зелеными шляпками алмазных звезд. И когда почудилось, что этот, живой от движения, воздух стал непроницаем, тело Леонор вдруг молча глухо сотряслось, и вмиг обмякло и отяжелело. И мгновенно на Эську толчками хлынула горячая и тяжелая влага, как в ваннах на Хаджибейском лимане…

Так они и лежали до конца боя – Эська, задыхаясь под тяжестью Леонор, плавясь в затекавшем под нее, горячем соленом источнике…

Затем ее, окровавленную, вытаскивали из-под мертвой испанки, вцепившейся в Эську мертвой хваткой. Бритая, с распахнутыми зелеными глазами, с откатившимся в траву нелепым «париком парубка», она упорно не желала отпускать своего аккомпаниатора, словно вот сейчас собиралась еще разок исполнить на «бис» коронный номер их программы: изящный и гордый «Пасадобль»…

С этого дня Эська обрила голову под мальчика - в память о Леонор Эсперансе Робледо; стала курить крепкие папиросы, и курила всю долгую жизнь, лишь в глубокой старости, по настоянию внука, заменив их на сигареты.

До конца войны она разъезжала в концертных бригадах, аккомпанируя на аккордеоне артистам цирка, не гнушаясь ничем: эксцентрика, пластические номера, манипуляция.

И тому подобное…

7

Большой Этингер погиб 19 октября 1941 года - через два дня после того, как румынские войска заняли Одессу.

Вообще, на момент начала оккупации он пребывал в психиатрической лечебнице. И кабы сидел смирно там, где сидел, то ничего бы с ним страшного не случилось: Евгений Александрович

Шевалев всю оккупацию прятал от гибели не только больных, но и здоровых евреев под видом сумасшедших, а соседи так привыкли к долгим исчезновениям старика, что никто бы его и не хватился.

Но Большой Этингер, под конец жизни став радостно-беспокойным, деятельно-распорядительным, все куда-то торопящимся, - умудрился бежать из закрытого отделения психушки, и сбежал не один, а вместе с другим пленником - кенарем Желтухиным, с которым в последние годы не расставался ни на минуту.

Румыны, получившие Одессу в подарок от Гитлера, были похожи на цыганскую саранчу - ободранные, пыльные, в обмотках, и по виду - голодные; во всяком случае, когда гостеприимное население выносило им хлеб-соль на вышитых рушниках, они, гогоча, отрывали от караваев и жадно грызли хрустящие корочки.

Всеобщая регистрация евреев была объявлена уже на следующий день, и сразу начались облавы, аресты и грабежи квартир. К голодным румынским патрулям, которых немедленно окрестили «сахарными» (под видом поисков оружия, те при обысках непременно прихватывали серебряную сахарницу), с энтузиазмом присоединялись свои местные мародеры - как не попользоваться соседским добром!

Румынский патруль на квартиру Этингеров навел управдом Сергей. Собственно, от квартиры оставалась одна только Эськина комната, да Стешина антресоль, которая, из-за *пониженных нормативов потолка*, жилой площадью не считалась; а вот, поди ж ты, все обитатели дома, да и весь двор с флигелями, до сих пор именовали квартиру номер 6 «квартирой Этингеров».

Сергей и не скрывал от Стеши ни действий своих, ни намерений. В первые дни оккупации он вообще чувствовал себя именинником: молдаванка-жена - это был счастливый лотерейный билет. Румыны считали молдаван «своими»: и язык тот же самый, и раса одна, как гордо подчеркивал Сергей - «древнеримская»!

Накануне во дворе он догнал Стешу на крыльце подъезда, и сказал в спину упругим веселым голосом:

- Ну что, досиделась у пархатых? От завтре их за мошну-то потрогают! А могла б в прибыли остаться, кабы договорились.

Она помедлила, не оборачиваясь, склонила голову к плечу и в тон ему легко проговорила: - Да какая там мошна, все в голод пораспродали – жить-то надо было. Так, стаканы-чашки-свечки…У них только одна ценная вещь и осталась. Но секретная, не догадаешься.

- Что за вещь? – вскинулся Сергей. У Этингеров он, кажется, все знал - с детства бывал в квартире, топил им печи, видел, что в голодные годы те, как и все, держались на честном слове, спустили на толкучке много добра. Втайне он считал, что у них, и правда, мало чего сохранилось, но «потрогать» и сам был не прочь, отчего не развлечься; а главное, Стешку проучить.

– Интересные дела! Брильянт, что ли?

- Щас, в письменном рапорте доложусь…- Она усмехнулась слегка брезгливой усмешкой, которая всегда его бесила. – А сам хрен найдешь. Но если поможешь, я те ту вещь за так отдам. За благородство.

- Ах, бла-аро-одство…– усмехнулся он. – Я себе думаю…Смотри, не забудь! Сама знаешь: тебе тоже кое-чего поберечь стоит. Кое-какую…ценную вещь!

Так что, к налету Стеша была готова. Патруль с «сопровождавшими» (при румынах крутились три бабы из общежития бывших детдомовок, что на Чкалова: рыбы-прилипалы, плыли вслед новым хахалям, хватая, что приглянулось из мелочевки), Стеша встретила в дверях. Стояла в штопаной шерстяной юбке и в потертой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы. Истошно кричала:

- Сюда, господа-домнулы дорогие, берите жидовское добро! Вон, на стол все свалила, хватайте! Всю жизнь на них горбатила! Мне самой от проклятых ничего не надо!

- Эт верно, - вдруг подтвердил Сергей. - Степанида - трудовая русская женщина. С детства тут в прислугах…

Стол в Эськиной комнате был завален добром. В этой куче сверкал натертый Стешей до блеска бронзовый канделябр, сахарница, предусмотрительно наполненная сахаром, кое-что из посуды, две фарфоровые прелестницы, деликатной щепотью приподнявшие пышные юбки, шкатулка Доры с какими-то стеклянными, «под брильянты», побрякушками. Но самым изумительным было странное - поверх всего добра – инженерной мысли сооружение, вроде шатра, из каких-то пружин, шнуров и застежек, обшитое голубым атласом небесной красоты…

(Непрошеных гостей сооружение, возможно, и озадачило, возможно, показалось даже несуразным; но мы-то, уже вхожие некогда в Дорину спальню, наблюдавшие, как Гаврила Оскарович - во фраке и при бабочке, - уперев колено в женину поясницу, тянет шнуры и вяжет узлы на легендарной «грудке»…- мы-то сразу узнали голубые латы Орлеанской Девы, и можем лишь восхититься

отчаянной Стешиной предприимчивостью, заставившей случайно не выкинутый анахронизм украсить сей спектакль, - то есть, честно послужить семье, чуть ли не тридцать лет спустя).

Все было в миг сметено в большое этингерово одеяло, и завязано в узел…

Пока солдаты рыскали по комнате, распахивая створки пустого буфета, бабы-детдомовки сдергивали с плечиков в шифоньере и бросали на пол какую-то одежу (и правда, бросовую, мысленно восхитился Сергей, ах, Стешка, ну, постаралась!) А Стеша без устали приговаривала - пристанывала: проклятые, проклятые жиды, наконец свое получат, угнетатели!

Соседи вели себя по-разному. Кто в коридоре толпился - поглазеть, что там у Этингеров возьмут, кто у себя в комнате заперся от греха подале.

Когда улов был завязан и взвален на спину солдату, второй румын, офицер, заглянул в кухню, мотнул головой в сторону антресоли.

- Спрашивает, что там, - торопливо наугад перевел Сергей. Он считал себя знатоком румынского: знал с десяток молдавских слов и выражений, самыми убедительными из которых были: «ду тэ ам пулэ!» («иди на хуй!»), и «ду тэ ин кулэ!» («иди в жопу!»)

Стеша махнула рукой: - Так то ж моя нора… И все в ней, как вот тая моя одежа…

Двумя пальцами грубой рабочей руки приподняла подол старой юбки и брезгливо этак посучила…

Румын скользнул по ней взглядом, уперся в льняную толстую косу на плече, и, ухмыльнувшись, вдруг протянул руку и пощупал, словно примеривался – не унести ли и это добро из жидовской квартиры. И несколько долгих мгновений осторожно мял и гладил мягкую косу, как уважительно мнут в горсти дорогую материю в лавке колониальных товаров, любовался и вправду драгоценным отливом волос: утром - платина, ввечеру - белое золото…Наконец, с сожалением бормотнул что-то, и отпустил. И Стеша глубоко вздохнула…

***

…Но для нее это оказалось лишь передышкой. Ибо в ту минуту, когда солдаты с узлом и бабьем, в сопровождении Сергея спустились вниз, - из арки во двор навстречу им ввалилась небольшая толпа, которую с улицы загоняли прикладами еще трое румынских

солдат с гогочущим офицером. Тот ужасно был весел, и, хохоча, все повторял: «Zoo! Zoo!!!», - вытирая умильные слезы.

И было над чем посмеяться: в группе задержанных по необъяснимой ухмылке судьбы оказался низенький человечек с такой же приземистой, как сам он, таксой, мальчик с кроликом в руках, и…к онемелому ужасу Стеши, наблюдавшей сверху из окна за уходящим патрулем, - Гаврила Оскарович Этингер собственной персоной, со своим легендарным, таким же поседелым, как хозяин, кенарем, беспокойно скачущим в клетке.

Большой Этингер попал в облаву недалеко от собственного дома, куда, вообще-то и направлялся своим машистым, не сминаемым годами, шагом, зорко поглядывая по сторонам и, как всегда, тихонько распеваясь. Октябрьский солнечный день, тихий и неряшливый, заметал по углам багряные листья. Город замер в нерешительности, еще не понимая – чего от румынов ждать. Только по Екатерининской прогрохотали один за другим два грузовика с солдатами.

Представительный, с седым горделивым коком надо лбом, в старом своем потертом пальто с бархатным черным воротником, старик явно радовался прохладному синему утру; старик Желтухин тоже чувствовал себя недурно.

Повернув к дому, Гаврила Оскарович остановился. На углу улицы странной кучкой теснилась группа людей - принужденно и испуганно. Среди них известными ему оказались офтальмолог Коган со своей любимой таксой, декан музыковедческого отделения консерватории Ольга Абрамовна Тесслер, с внуком Эмилем (именно сегодня ему купили обещанного кролика), и, наконец, бледная Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, которую – бог ты мой! - он не видел лет десять, и как же она, бедняжка, сдала!

К Ариадне Арнольдовне он, прочищая горло, и направился, совершенно игнорируя ситуацию. А она, увидев его, не обрадовалась вовсе, а напротив, побледнела еще сильнее, и, не прерывая нервной беседы с офицером, рассматривающим ее абсолютно арийские документы, принялась делать за спиной какие-то дикие отгоняющие пассы, пытаясь не допустить приближения Гаврилы Оскаровича.

Как?! Спустя столько лет она не хочет его видеть?!

- Нади-и-ин, о, неуже-е-ели…!

…Так и вышло, что, обернувшись на теноровые рулады и узрев забавного старого еврея с канарейкой, смешливый офицер с воп-

лем: «Zoo!!!» буквально согнулся от хохота пополам, и уже не обращая внимания на пылкую французскую речь Ариадны (бедняжка слышала, что румынский похож на французский, и *пришельцы* его якобы понимают), - велел загнать без разбора всех этих перепуганных клоунов во двор - в тот, что, собственно, и оказался двором дома Этингера.

Далее все разворачивалось еще быстрее.

Неуемная Ариадна Арнольдовна (офицер уже склонялся отпустить ее восвояси), принялась горячо его убеждать, что бедный больной старик совсем безвреден, и нуждается в присмотре родственников…и вот, как раз, к счастью, его собственный подъезд, так что…- видимо, досадила своими приставаниями настолько, что, закатив жовиальные глазки, офицер дал знак солдату прогнать надоедливую каргу. Тот, не рассчитав силы, смахнул старушку в сторону так, что она, не удержавшись на ногах, упала, да еще ударилась головой о водосточную трубу.

Это и послужило сигналом к тому, что впоследствии смешливый румын, в лицах изображая перед товарищами, называл «еврейской оперой». Рассказывая, умирал от хохота, и махал руками, умоляя не перебивать, успокоиться; и останавливался, пережидая взрыв гомерического смеха однополчан, и тут же сам сгибался от визгливого бессильного хохота, припоминая, как «артист» величественно поводил рукой, будто настоящий певец…

Словом, когда, прозрачная от старости Ариадна медленно, как палый лист, отлетела к водосточной трубе и опустилась на землю, в оркестре грянули барабаны и ухнули литавры.

- Подо-о-онки!!! - в бешенстве загремел Большой Этингер, кинувшись поднимать Ариадну Арнольдовну. - Гну-у-усные подо-о-онки!!!

Он гневно распрямился; его тенор, сохранивший, благодаря ежеутренним распевкам, необычайную молодую силу, взмыл из колодца двора к синему осеннему небу; белоснежный артистический кок возвышался над притихшей толпой. Кенарь Желтухин, всегда подпевавший хозяину, залился одной из самых драгоценных своих арий. В окнах всех, выходивших во двор квартир, показались ошалелые, озадаченные, заинтригованные, злорадные лица. Так что, ложи были полны, и блистали.

С румынами тоже произошла некоторая заминка. Они растерялись: никто не ожидал подобных оперных сюрпризов от горстки евреев.

А Большой Этингер лишь разворачивался в полную силу: наконец-то, после долгого перерыва у него появилась публика! Одной

рукой нежно прижимая к себе Ариадну Арнольдовну, другой вздымая вверх клетку с кенарем, точно это был полководческий жезл или бутафорский факел, что освещает путь заблудшим, - он с воодушевлением перешел на арию Радамеса:

- «Сердце полно жаждой мщенья:
всюду слышен стон народа,
он к победе призывает!
Мщенье, мщенье и гибель всем врагам!»

Этот неожиданный концерт мог бы длиться и дольше, ибо впечатлительный офицер, вполне вероятно, не чуждый культуре, явно заслушался по-прежнему сильным и свободным тенором старика, да еще в таком необычном сопровождении…

Но один из солдат патруля, кряжистый мужичонка с этингеровым тюком на спине, заскучав, передернул затвор, и кенар Желтухин - несравненный маэстро, легенда городского фольклора - умолк, снятый метким выстрелом.

Два-три мгновения прерванный Гаврила Оскарович ошеломленно смотрел под ноги, где в разнесенной выстрелом клетке валялась горстка окровавленных перьев.

Наконец, поднял голову, и великолепный его тенор зазвучал с невероятной, последней сокрушительной мощью:

- Уби-и-и-йцы! Кровавые уби-и-и-йцы!!!

Невинную пта-а-а-аху загуби-и-и-и…!!!

Грянула в оркестре гороховая россыпь барабанов, ухнули литавры…

Солист упал на колени, и секунды две-три еще стоял так, пытаясь нашарить на земле клетку. Затем повалился ничком.

После чего румыны методично и весело перестреляли всю небольшую массовку этого поистине грандиозного спектакля.

Ариадне Арнольдовне фон Шнеллер, как и невинным таксе и кролику, пришлось разделить участь остальных…

В окне второго этажа на раме окна повисла, распятая ужасом, Стеша, - в грубой своей кацавейке, застегнутой на три матерчатые пуговицы. Она видела всю сцену, она досмотрела все до конца. Спуститься вниз и прибрать тело старика не могла: ей надо было остаться живой, во что бы то ни стало. Не ради себя. Нет! Не ради себя.

Уж это она прекрасно понимала своей *запоздалой головой*.

А Большой Этингер… Что ж, старик свое прожил. Годы его такие, что не обидно.

Белея снежным рассыпчатым коком, он лежал под водосточной

трубой голова к голове с прекрасной Ариадной, проникновенной любовью его молодости; лежал, протягивая руку вслед откатившейся клетке с убитым маэстро.

«Ста-аканчики гра-анен-ны-ия упа-али со стола, упали и разбили-ся, разбилась жизнь моя…» - как высвистывал незабвенный кенарь Желтухин, и вслед за ним безмятежно напевал Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, - но все тот же Этингер, хоть ты тресни…

8

До Одессы Эська добралась только в конце сорок пятого. Ехала долго, с пересадками (составы шли через пень-колоду, переполненные демобилизованными военными); так что, сама себе не поверила, когда, с небольшим чемоданчиком, вышла на привокзальную площадь родного города и вдохнула такой знакомый воздух, к которому примешивалось что-то саднящее: запах легкой гари, и прибитой дождями мокрой пыли на развалинах распотрошенных войной и людьми домов.

От вокзала села на едва ползущий трамвай, зачем-то вышла на три остановки раньше и пошла пешком, пытаясь унять сердце. Она уже знала, что папы нет, понимала, что, кроме Стеши, встретить и узнать ее некому, значит, и переживать так не стоит. А вот, поди ж ты…

Вначале ей показалось, что двор изменился не сильно. Все так же висели чьи-то кальсоны на веревках, ни на сантиметр не сдвинулись ни старинная водяная цистерна, ни платан, ни кусты сирени, нынче уже голые, – все оставалось прежним. Ребятни только прибавилось. У открытых дверей их подъезда стояла белобрысая девочка лет шести, обнимая белую кошку. Она странно пристально глядела на приблизившуюся Эську. В девочке вообще было нечто странное, в кошке - тоже. Замедлив шаг, Эська опустила чемодан на ступени крыльца. У девочки были разные глаза: один серый, в крапинку, очень какой-то знакомый, другой – карий, знакомый тоже. И у кошки-альбиноса (как в кошмарном сне), тоже были разные глаза: один безумный голубой, с вертикальной соринкой черного зрачка, другой – зеленый самоцвет.

- Барышня…- вдруг проговорила девочка хрипло. Стиснула кошку покрепче, повернулась и поскакала по ступеням вверх, крича: - Мама! Мама! Барышня приехала!

В дверях квартиры они и столкнулись. Стеша вскрикнула, всплеснула руками, Эська застонала от радости. Они аккуратно

трижды расцеловались и обнялись (Стеша, робея, погладила барышню по колючей мальчиковой голове, не удержавшись от желания приласкать ее, как ребенка). И какое-то время обе никак не могли попасть в тон этой долгожданной встречи. Их разлука вмещала столько боли и новизны для каждой, что еще предстояло привыкнуть и к новизне этой, и к боли, и осторожно преодолевать их изо дня в день.

Стеша засуетилась, первым делом бросилась «кормить с дороги» - у нее, как обычно, укрытые подушкой, лежали в миске теплые оладушки. Молниеносно застелила скатерть в Эськиной комнате, расставила тарелки, принесла из кухни заваренный чай…

И не дождавшись, когда барышня проглотит первый кусок, с затаенной гордостью принялась рассказывать, как ей удалось «сохранить обстановку».

Она и правда самоотверженно перетаскивала вещи и оставшуюся мебель Этингеров в эту комнату, едва их уплотняли очередными жильцами. Из столовой полдня, толкая и наваливаясь грудью, отдыхая через каждые два метра, привезла величественный буфет «Нотр-Дам» - с башенками, с ограненными вертикальными стеклышками в дверцах, с инкрустацией по карнизу: все слоновая кость, с резными гроздьями фруктов и цветов. Из Дориной спальни спасла круглый столик грушевого дерева, изящно присевший, застенчиво казавший из-под бахромчатой скатерти коленки трех полусогнутых ножек.

Из кабинета Гаврилскарыча, взломав ночью уже врезанный новыми жильцами замок, перенесла на спине нотный шкафчик, инкрустированный перламутровыми нотными знаками, и ломберный столик для игры в карты, который в детстве втайне был ее самой любимой вещью в доме.

Столик открывался двумя выдвижными досками, обитыми зеленым сукном веселого травяного оттенка, с ящичками для мела и карт (немедленно воспаряет над ним прозрачный и призрачный старик Моисей Маранц, раскладывающий карты для деберца). Когда игра заканчивалась и гости расходились, для Стеши наступали самые сладостные минуты. Выкуривая сигару, Гаврилскарыч досиживал вечер в своем кресле, а Стеша, набросив на плечи ему, сомлевшему в струях жемчужного дыма, шотландский клетчатый плед, неслышно суетилась рядом: отчищала щеткой пепел с зеленого сукна, протирала тряпкой полированные ножки (медленно, тщательно - чтобы подольше побыть *вдвоем*)…Наконец, Большой Этингер поднимался и уходил в спальню к Доре, а Стеша вдвигала доски внутрь столика, и он становился обычным небольшим столом.

Хорошо, что концертное пианино с канделябрами, и старый французский гобелен над кроватью (мальчик-разносчик уронил корзину с пирожными, два апаша их едят, мальчик плачет – все на фоне афиши Тулуз-Лотрека) - прикипели к комнате «барышни» издавна, да и хрен бы она, Стеша, кому позволила даже на них взглянуть…

Да, было тесно! Да, пройти между напольными часами и креслом деда-кантониста можно было только боком. Но, продолжая жить в своей каморке на антресоли, Стеша каждое утро и каждый вечер отпирала дверь Эськиной комнаты, свирепо инспектируя – все ли на месте.

Она уплотняла «нашей» мебелью комнату в ожидании барышни. И вот та явилась.

С торжеством был извлечен из-под кровати и явлен пухлый парусиновый саквояж с «венским гардеробом», давно позабытым собственной владелицей. Вот, полюбуйтесь, барышня: ни одной вещи не продала! Все блузки, все юбки-платья, две гладкие картонки устричного цвета со шляпками внутри, и даже с длинными булавками, теми, что шляпу прикрепляют к прическе – вот они! (сказала «к прическе» и окоротила себя, бросив очередной испуганный взгляд на мальчиковый барышнин затылок).

В тот момент, когда Стеша суетливо перебирала перед ней полузабытые красоты «венского гардероба», ожидая похвалы и признательности - и она, конечно же, ахала, благодарила, гладила Стешу по круглому плечу! - это «элегантное старье» показалось Эське и трогательным, и смешным, и претенциозным, и грустным... Но недели через две, когда осмотрелась и решительно положила себе «начинать жить!», она принялась, усмехаясь, разбирать все эти, позабытые за годы войны юбки и блузки, примерять и не без удовольствия бросать искоса взгляд на свою фигурку в зеркале – а ведь лет-то тебе сколько, «барышня»! в твои годы бабам случается уже и внуков иметь… – выяснилось, что все вещи по-прежнему идеально подходят, все изумительно элегантны, а сшиты так просто на века.

- Полина Эрнестовна – вот кто порадовался бы такой сохранности, - задумчиво проговорила Эська, перебирая аккуратную цветную стопку вещей на кровати. Стеша немедленно отозвалась на это, что - да, порадовалась бы, и даже загордилась бы…если б не сгибла вместе с одной своей старой клиенткой.

- Как?! – изумилась Эська. – Да я была уверена, что она умерла себе сто лет назад.

Нет, - как оказалось, - не сто лет назад, не такая уж, выходит, она была и старая в то золотое время, когда дамы трепетали от одной только возможности заказать наряд у великой Полины Эрнестовны. Вот в войну она - да, была таки уже древней старухой, сидела в инвалидном кресле, не поднимаясь. Но в чуланчике полгода прятала - да вы помните ее! - дочь кардиолога Файнштейна. Красивая девушка, но прихрамывала после полиемиелита. Их-то всех расстреляли, а девушка как-то вывернулась, спаслась, и пришла к Полине Эрнестовне…И жила у той в чуланчике между коробками с пуговицами-нитками-тесьмой, пока соседка не донесла. Ну, само собой, за ними пришли и всех забрали - и девушку, и старуху, и заодно племянника Полины Эрнестовны, который все знал, и кормил и тетку, и сиделицу. Старуху поленились тащить с третьего этажа, просто сбросили в пролет лестницы вместе с креслом, и все дела…

Они сидели за ломберным столиком уже второй час, и Стеша подкладывала барышне на тарелку нескончаемые свои оладушки, чай доливала, - никак не могла подобраться к рассказу о гибели Гаврилы Оскаровича, сильно трусила…

Наконец Эська отодвинула тарелку, накрыла своей сильной рукой Стешину наработанную руку, и тихо, строго проговорила:

- Папа!

И Стеша обреченно выдохнула, закрыла ладонью глаза и монотонно, в нескольких конспективных предложениях все рассказала, не отнимая от лица мокрой ладони.

Эська, сгорбившись, долго задумчиво курила…

Она очень изменилась: внешне оставаясь такой же хрупкой, внутренне загрубела и отяжелела. Могла окатить каскадом крепкой брани. Но главное – ее подвижное тонкое лицо, в котором прежде отражались малейшие порывы настроения, словно бы отвердело, как будто она пришла к некоему определенному понятию о жизни, и в коррективах уже не нуждалась.

Наконец, сильно вдавив окурок в блюдечко, так что другим краем оно встало на дыбы, тихо спросила:

- А…Сергей, управдом? В какой он, говоришь, квартире живет?

И Стеша спокойно отозвалась:

- Не живет уже. Прикончили его.

- Кто? – удивилась Эська, подняв на нее свои агатовые, странно блеснувшие глаза.

Стеша помолчала, и так же легко ответила:

- Да кто ж это узнает!

Но уговор-то он выполнил! Часа три спустя, после того как сам куда-то вывез со двора на подводе тела убитых, постучал в дверь ее каморки и, сильно дыша перегаром в приоткрытую на цепочку щель, спросил:

- Ну?! Я свое соблюл. Давай, выноси ту ценную вещь.

Она молчала и была плохо различима в темноте своей антресоли.

- Чи брехала?- вкрадчиво продолжал он. - Смотри, Степанида, ты меня не крути… Видала, какой с Большим Этингером приключился романс? То-то. Поди, вынеси!

Она сказала ему спокойно: - Ты что, дурак, – прямо здесь, среди дня? Так просто ж ее не унесешь.

- А шо, така тяжелая? – сощурившись, спросил он. – Не крути, говорю! Пусти меня, ну-к!

- Не тяжелая, а заметная. – Спокойно отозвалась она, почти невидимая, только лоб блестел от испарины, и запахом ее пахнуло из дверной щели: крахмальным, сдобным-оладушкиным. - Иди, Серега, не дури, я тебя сама навещу, ночью. Не ложись. И никому ни слова!

Он усмехнулся, отступил и сказал: - Навести, навести…Я не ляжу! Я тя давно жду. Много лет тя жду. Обожжу и до ночи…

…Ночью она ладонью толкнула его дверь - та откачнулась, и Стеша просто тихо вошла. Повезло, что семью он отправил к родне в деревню, подале от «всей этой заварухи». Вообще, если не считать смерти старика, ей сегодня страшно везло.

Сергей, и правда, ждал, хотя света не зажигал – горела только керосиновая лампа. Сидел за столом в сетчатой майке, в синих сатиновых бриджах, - накачивался водкой. Удивительно, подумала она с усталым злорадством, до чего же он, при всей наглости, всегда ее робел. Постель, тем не менее, была подобострастно расстелена, - и уголок одеяла загнут, во как! Дожидался…

«Вещь» она завернула в платок, а то б он сразу узнал. В театре, говаривал покойный Гаврилскарыч, любое действие должно быть подготовлено и подогрето фантазией зрителя.

Увидев ее, Сергей вскочил из-за стола, руки протянул - облапить. В полутьме камушками блестели его похабные глазки.

Она грубовато толкнула его обратно на стул, шикнула:

- Да погоди ты! Сначала дело… И не гляди, что это тебе знакомо.

Развернула платок.

- Тю-у-у! – протянул он. - То ж палка Большого Этингера…

- Па-а-алка! – презрительно передразнила она. – Шо ты понимаешь! Во-первых, не «палка», а трость. Главное же, тут балдахин – чуешь, из чего?

- Ну..?

- Чистое золото!

Он откинулся, вгляделся в Стешу. Она и сама - статная, со своей, немеркнущей с годами, льняной косой вкруг головы - казалась большой тростью с «золотым балдахином».

- Бреши, бреши…

- Говорю тебе, они все свои кольца выплавили, сама к ювелиру Лейзеровичу носила, и он прежний балдахин заменил новым, – поди догадайся!

- А ну, дай! – он протянул руку, приподнялся, - где там проба, гляну…

- Проба?! - Она негодующе отвела его руку и снова усадила на стул, придавив ладонью сутулое плечо. - Проба – эт зачем? шоб все соседи, воры и гады, навродь тебя, узнали? Сиди, говорю! Это не все… Тут тайник есть. Смотри! Щас удивишься.

С этими словами она деловито и плавно, под взглядом заинтригованного Сергея стала раскручивать «балдахин», который в тусклом свете керосиновой лампы и правда посверкивал убедительно. Знала, выучила назубок - сколько витков тот крутится в пазах, и еще секунды три, нависая над сидящим Сергеем, крутила и крутила вхолостую… - готовилась.

Ей показалось: вся жизнь мелькнула за эти три секунды. «Девочка…нам не нужна прислуга», - сказал высокий красавец в белом кашне… «Мое доброе дитя…» - говорил старик, пряча мятое лицо в ее горячих грудях…

*Плавно выхватив львиный клык из полой трости, она мощным коротким взмахом погрузила его в яремную ямку управдома. Тот откинулся, **удивился** (у него потом, у мертвого, были и впрямь удивленные глаза) - схватился обеими руками за позолоченный набалдашник и успел вырвать его из горла; после чего захрипел и повалился на стол грудью, лицом.*

*Клинок был, конечно, «декорацией и чепухой», как справедливо говаривал Большой Этингер, но только до сегодняшнего вечера. До того момента, пока на своей антресоли Стеша не отладила его на точильном бруске, с присущей ей **запоздалой** тщательностью…*

Так же тщательно и споро, как убирала обычно дом, она прибрала все вокруг тела удивленного управдома, вытерла клинок о его

бриджи, замыла водкой, обернула трость в тот же платок и ушла…

Впоследствии трость (элегантная вещица!), и правда стала всего лишь «палкой» - Стеша превратила ее в швабру, прибив поперечную деревяшку и преспокойно надраивая ею полы аж до отъезда в Ерусалим в конце восьмидесятых…. Что касается золотого «балдахина» с его опасной начинкой - так он и посейчас, должно быть, сияет рыбкам и медузам где-то на дне, - там, в районе Ланжерона…

Они сидели друг против друга третий час, и Стеша все рассказывала и рассказывала, перескакивая с одной знакомой семьи на другую, уточняя подробности гибели или спасения, предательства, мародерства, подлости…или самоотверженного безумия спасителей.

Ни словечком не обмолвилась только про то, откуда взялась девочка, которую звала Ирусей. Та время от времени прибегала со двора, тиская все ту же безответную кошку, вставала столбиком у стола и открывала рот. И Стеша, почти не глядя, брала двумя пальцами воздушную оладушку и отправляла девочке в рот, после чего та, старательно ее прожевав, подпрыгивала и бежала играть.

- Стеша, - мягко проговорила Эська, дождавшись, когда девочка, с кошкой в объятиях, снова ускачет во двор. - Я так тебе благодарна - за все. И за…папу, и что вещи сберегла. За твою великую преданность семье…- она переглотнула, помолчала мгновение и решилась: - Прости, что спрашиваю. И не думай, что осуждаю… Эта вот, девочка, она - твоя?

- Наша. - Скупо отозвалась Стеша.

После чего, глядя глаза в глаза, обстоятельно поклялась «барышне» жизнью и памятью, что Ируся - как сказал бы сам Гаврилскарыч - *дитя Дома Этингера*. Так и выговорила - с истинно папиной домашней интонацией.

Далее обомлевшей Эське пришлось услышать очередной парафраз библейского сюжета с царем Давидом и пресловутой девицей Ависагой, - сюжета, немало кормившего батальон живописцев разных эпох и народов.

Старик, мол, страшно мерз под старость, и она, Стеша,…ну, словом, в холодные вечера укладывалась к нему - *погреть папашу*. Короче, берегла его, «как синицу - окунь». А Гаврилскарыч - он, конечно, под конец *головой совсем вознесся в небеса, пел и пел, как ангел…* но клянусь вам, барышня, еще вполне был мужчина.

- Погоди! что же это…- запинаясь, проговорила побледневшая, немало сконфуженная Эська. На миг показалось, что именно эта домашняя новость превратила ее - огрубевшую, сорокапятилетнюю, ничему не удивлявшуюся женщину - в прежнюю застенчивую гимназистку, застукавшую отца выходящим из чужого подъезда под руку с юной стройной дамой. - Ты хочешь сказать, что эта, вот, девочка…- моя сестра?

- Или сестра - наверняка не скажу, - так же обстоятельно, без тени смущения отозвалась Стеша, спокойно глядя на «барышню». - Тут ведь и Яша побывал.

И вот здесь впервые развернуто - как оперное либретто, - прозвучал Стешин рассказ о возвращении Блудного сына.

Вы, может, не знали, барышня, а сейчас уже и причин никаких нет скрывать: ведь у нас с Яшей была такая красивая молодая любовь! Еще до всего, до всего…И на даче он ко мне каждую ночь бегал. И стихи, - это ведь он мне писал, помните: «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать!»

А в то, последнее свидание, в сороковом, пришел ночью…то ли отцова гнева опасался, то ли соседских глаз не хотел. Как в квартиру попал - неизвестно, может, дверь оказалась открытой: молодняк тут до ночи гуляет-шастает. Не исключено, что и ключ у него сохранился, кто знает…

Стеша услышала грузные шаги сначала по коридору, затем на деревянной лесенке на антресоль. Отворилась дверь в ее каморку и, пригибая голову (значит, помнил о низких потолках!), вошел кто-то огромный, бородатый…Сначала она страшно перепугалась, чуть не крикнула: подумала, вот заберут ее, и останется Гаврилскарыч один, такой нездоровый, старенький…Вскочила, как была, в рубашке, простоволосая. А он шагнул к ней, провел по волосам ручищей, и шепотом: «Их вайс нихьт, вас золь эс бедойтн»… А волосы прежние, моя Лорелея…».

И она узнала этот гимназический шепот, заскулила и вжалась в него со всей силы…

Короче, ночь Яша провел у нее, и это, барышня, была такая ночь, о какой любая женщина может только мечтать (при этих словах Эська с трудом удержалась, чтоб не поморщиться).

Наутро он выждал у Стеши на антресоли, пока соседи не разойдутся, умылся на кухне, одеколоном сбрызнул шею…Видать, знаете, барышня, все ж таки робел перед встречей с папашей.

И правильно робел: старика чуть удар не хватил. Увидев сына, он поначалу не узнал его, а, узнав, первым делом, конечно…запел.

Что там именно пел Гаврила Оскарович, спрашивать у Стеши было бесполезно. Прожив всю жизнь в столь музыкальном доме, со столь музыкально образованными людьми, она хорошо различала только песню кенаря Желтухина; но вот что отлично запомнила: вначале Яков Гаврилыч пытался что-то сказать, старался даже перекричать отца…- все бесполезно. Так он тогда, знаете, барышня,…взял, и тоже запел.

- Кто - запел? Яша - запел?! – уточнила ошеломленная Эська.

Ну, да, ну, да…Хотите - верьте, хотите - не верьте, барышня. А как еще до папаши было докричаться? И вот когда Яков Гаврилыч запел… - ох, ну и голосина у него, прям совсем как у Гаврилскарыча! - так тот, знаете, попритих вначале, стал вслушиваться, хотя и отвернулся. Потом, однако, оборотился, простер так руку, ну, вы знаете эти его картинные позы… и опять загремел…

Стеша вдруг оживилась, и с грустной улыбкой спросила:

- А помните, помните, барышня, как пели они на даче дуэтом: «Однозвучно гремит колокольчик…». Помните, как голоса-то их парили - как две чайки над морем? Так вот, не дай вам боже, барышня, было услышать эти два голоса - тогда. А я - слышала… Кровь стыла в жилах! Счастье, что соседей никого дома не оказалось! Очень было все громко. Руками размахивали, Гаврилскарыч, как на похоронах, рубаху на себе порвал, хорошую, почти новую, ни единой штопки на ней…А Яша плакал…И пели оба, как оглашенные. Папаша гремел: «Проклина-а-а-аю!!! Проклина-а-аю!!!». А тот: - «Оте-е-ец! Ты не знаешь, что пришлось пережи-и-и-ить!».

Так что она голову не прозаклала бы - чья получилась девочка: проклявшего или проклятого. А то, что проклятье отца сработало незамедлительно, тому сама была свидетельницей: Яшу взяли тут же, во дворе, - она видела из окна, - двое мужчин «таких себе хлюпиков, я вам скажу, барышня. Яков Гаврилыч мог разметать их, как воробьев, да и бежать: до порта рукой подать, прыгнул в любую фелюку, - и в Турцию! Но…почему-то не разметал. Помолчал так с минуту, и будто покорился: опустил голову, достал наган и отдал. И пошел с ними со двора - шли тесно, что три друга…

Эська сидела, собираясь с мыслями. Спросила - как удалось сохранить ребенка от уничтожения и облав. И в ответ услышала, что Стеша всегда перед соседями выдавала «беляночку» за дочь одного молдавана, рабочего с завода сельхозмашин Гена на Пересыпи. Тот и в самом деле ходил к ней месяца три, пока не выгнала…

Она не стала уточнять, что все равно прятала удивительно тихую девочку у себя на антресоли вплоть до ночного свидания с Сергеем. Тот единственный ущучил, чья, на самом деле, Ируся: просто, слышал однажды, как во дворе Большой Этингер пропел младенцу: «До-о-очь моя! Последыш моих чре-е-есел!!!», - сложил два и два, а с приходом румын шантажировал и терзал Стешу, пока не получил сполна – и за муки ее, и за страх, и за Ирусю, и за смерть высокого красавца с чудными серыми глазами…

Эська молчала, опустив голову. Потом неуверенно сглотнула и спросила:

- И все же, Стеша: ты ведь не девчонка, взрослая женщина. Я-то ничего в этом не понимаю, не привелось. Но разве такое нельзя почувствовать - от кого ребенок? Понимаешь, это…это для меня почему-то важно.

Та выпрямилась на стуле, спокойно вгляделась в осунувшееся лицо «барышни».

- Да какая разница! – Горячо спросила она с поистине этингеровым достоинством. - Все одно - хозяйское…

Библейскому эпизоду (Давид с Ависагой) Эська не поверила ни на грош: белобрысенькая девочка с разными глазами, прижавшая к груди разноглазую - как в страшном сне, - белую кошку, так отрешенно глядела на мир, что причислить ее к дому Этингера не было никакой возможности.

Поверить пришлось гораздо позже, спустя лет сорок, когда не по климату смуглый и, как говорила воспитательница, «мелкий мальчик», - и вправду, миниатюрный, почти как сама Эська, - рожденный Ирусиной дочерью Владкой бог знает от какого иностранного студента, на детсадовском утреннике по кивку музработницы открыл свой воробьиный рот, и с колокольчиковой нежностью и чеканной чистотой старательно прозвенел подержанной песенкой про срубленную елочку, вышибив слезы на глазах потрясенных родителей младшей группы детского сада.

- Прости меня, Стеша, прости! - забормотала Эська в торопливом замешательстве, сама огорчаясь своей бестактностью. - Конечно, Стеша, ты права. Ты так много сделала для нашей семьи…- И осеклась, пораженная новой мыслью: да ведь эта женщина, подумала, она и есть - *семья.* А кто же еще? Не ты ж, бесплодное чрево, а вот она, она! Именно от нее, уже немолодой и грузной, завился поздний побег, и уже неважно - кто заронил в утробу этой Фамари долгожданное семя.

«Папа, не папа, - мельком подумала она со смиренной усмешкой…- Какая в том беда дому Этингера!».

А Стеша распрямилась и, вздохнув, проговорила:

- Да. Вот еще… - хотела что-то добавить, но, поколебавшись, просто вышла из комнаты и вернулась: в грубой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы.

- Вот…- и тайно торжествуя, поворачивалась к «барышне» то правым, то левым боком.

- Что ты, Стеша? – Недоуменно и ласково спросила Эська, мельком подумав, что эта женщина, выросшая в их семье, почему-то всегда умудрялась одеться самым нелепым образом.

А Стеша достала из портновской шкатулки ножнички, и аккуратно и неторопливо, слегка наклоняя грудь над столом, взрезала перед недоумевающей «барышней» материю на пуговицах. На стол выкатились три знаменитых Дориных кольца, легко прихлопнутые грубой Стешиной ладонью: одно обручальное, все в мелких, но чистых бриллиантах, второе – с тремя небольшими изумрудами на золотых лепестках, и третье – с невероятно крупной розовой жемчужиной…- те самые кольца, которым Большой Этингер прочил когда-то большую искупительную судьбу.

- Боже…- выдохнула Эська, и вскочила…- Родная моя!…Как же ты…Как же вы тут…все это время, - голод, война…Родная моя, милая моя!

И тут обе разрыдались, повисли друг на дружке, стискивая одна другую тяжелой хваткой, раскачиваясь и воя в два низких бабьих голоса…

***

Вот, пожалуй, и все - на данную страницу.

Впрочем…Тут следовало бы добавить, что *последний по времени Этингер*, - тот эксцентричный и нагловатый Этингер, которого даже его кроткая бабка в минуты гнева называла «выблядком» или «мамзером» (что, собственно, одно и то же), переодеваясь в своих опаснейших одиссеях, щедро использовал…даже не так: азартно, и с присущим ему жестоким юморком *преображался, проживая характеры* ближних и далеких особей своего семейства, да и не семейства – тоже. (К чему, например, терзать дух давно умершей героической старушки Ариадны Арнольдовны фон Шнеллер, вызывать ее аристократическое имя из небытия, - и не просто вызывать, а присобачивать его к паспорту, одному из тех фальши-

вых корочек, что пачками фабрикует какой-нибудь виртуоз из соответствующего отдела соответствующей легендарной организации?)

Но может быть, причудливая страсть этого типа: преображаться в давно ушедших родичей, - есть всего лишь трогательное стремление окружить себя неким эфемерным подобием большой семьи?

Вот один из парадоксов этой путаной истории: мы все о «клане», да о «Доме Этингера»… В воображении читателя наверняка уж возникла величественная картина: седобородый патриарх, прародитель двенадцати колен, окруженный шумящей армией потомков. Между тем, род Этингеров всегда - вы слышите? - всегда, как нитевидный пульс больного, держался на единственном отпрыске, единственной надежде не пропасть, не захиреть окончательно. Словно некая нерадивая Парка, клюющая носом над пряжей, вдруг спохватится, да и вытянет торопливым крючком едва не упущенную единственную тонкую петлю очередного поколения.

«Всегда на сопле висел», - утверждал *последний по времени Этингер*, субьект, мягко говоря, не сентиментальный.

Ну, что ж, - в конце-то концов, все они существовали, все наполняли смыслом своих жизней имя рода, все подтверждали ту изначальную истину, что мы зависим от предков, от кровных, пусть даже и мимолетных связей, что все мы - хранилища жестов, ужимок, пристрастий, телесных примет своих пращуров…Что мы всего только слабые существа, несущие в жилах ток горячей беззащитной крови.

…Но и этот артист, этот лихой человек мысленно частенько именовал - с издевкой, а то и с ожесточением - свое нелепое и жидкое, как пустой суп, семейство точно так, как давным-давно напыщенно и велеречиво назвал его еще старый николаевский солдат: «Дом Этингера»!

Дина Рубина *родилась в Ташкенте в семье художника. Окончила Ташкентскую консерваторию. Репатриировалась в Израиль в 1990 году. Она – широко известная писательница, автор более 30 книг. Их общий тираж превышает полтора миллиона экземпляров.*

Лауреат нескольких престижных литературных премий. Произведения Рубиной переведены на многие иностранные языки.

Она член СП СССР, международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля. Живет в Иерусалиме.

Постоянный автор журнала "Время и место".

ОЛЕГ ГЛУШКИН

МИНИАТЮРЫ

*В номере 4 (28) за прошлый год мы напечатали два рассказа известного российского писателя Олега Глушкина: "**К.** и Анна" и "Ветеран". Рассказы, на наш взгляд, превосходные, особенно первый. Таким образом, мы представили автора русскоязычным читателям Америки, Германии, Израиля и других стран.*

Глушкин многие десятилетия живет в Калининграде. Город этот (до 4 июля 1946 года - Кёнигсберг) – самый западный областной центр страны. Вольно или невольно географическое положение отражается в творчестве писателя. Это и его профессия – кораблестроитель, и плавания по морям и океанам, и ощущение некоего пограничного состояния – Восток и Запад для него трудно разделимы.

*Публикуемые в этом номере миниатюры – умные и тонкие, насыщены небанальными мыслями. Обратите внимание на стиль – нынче, в век **ширпотреба** в искусстве, мало кому удается (да и желания такого у большинства пишущих попросту нет) так мастерски отделывать свои произведения. Мне они напоминают изящные изделия из янтаря…*

Давид Гай,
зам. главного редактора

Одиночество

Прозрачно безоблачное небо сентября. Море тяжелое, темное, но все еще сохраняющее летнее тепло. Призрачные тени деревьев наползают на береговой песок. Перезрелые яблоки скатываются с обрыва. Но еще почти нет желтых листьев. Море ровное и гладкое вдали, у берега вздымает волны прибоя. В ложбинах, среди дюн,

где совершенно нет ветра, можно ощутить сколь еще тепло и щедро солнце ранней осени. Можно даже загорать. Наверстать то, что не успел в это утомительное лето, не оставлявшее свободных дней. Осенний загар не смывается так быстро, как летний. Он ровный и словно дан тебе от рождения. Будешь мулатом, нынче это модно. Кожа лоснится и переливается коричневым блеском. Песок легко скатывается с нее от малейшего твоего движения. Что может быть чище песка в дюнах. Никого вокруг. Непуганые птицы затевают прощальные пересвисты. Тебе нужен всего лишь один день, чтобы побыть наедине с самим собой. День, посвященный молчанию.

Молчание сберегает слова, сохраняет их для бумаги. В зимние ночи эти слова будут проявляться на бумаге, можно будет выстроить их, подобрать одинаковый цвет как на гранях кубика-рубика, заставить тех, кто будет читать эти слова, сопереживать тебе и видеть как одиноко человеку, затерянному среди дюн. Пусть думают, что одиноко. А ты совсем не одинок даже среди самых дальних дюн, куда не доносится шум моря. Ты погружаешься в тишину, в которой становится слышно, как поют песчинки и шелестят крылья бабочек. В зеленой полосе ельника, подступающего к дюнам, прорастают грибы, ты слышишь, как они чмокают в ожидании дождя, это их поцелуи открывшемуся небу. Вдалеке, в просвете между дюн, взблескивает море. В окаймление песка, оно застыло картиной в бронзовой раме. Одинокий сборщик янтаря появился неожиданно на этой картине, с суковатой палкой в руке, в водолазном костюме. Не хватает только шлема. Появился на мгновение и исчез. А возможно, он просто рожден воображением.

Человек, жаждущий одиночества, на самом деле ведь ищет встреч с другими людьми. Он хочет поведать им о своем одиночестве. Собеседника можно сотворить для себя. Вот появились на небе первые перистые облака. Это карета катится по склонам дюн. Колеса застревают в песке. Царевна-лягушка выпучивает глаза. Лук легко можно смастерить из ветки дерева, тетива – резинка, стрела – авторучка. Выпускаю ее на лист белой бумаги. Бумагу засыпает песок. Облака тают вдали. Небо наливается голубизной и постепенно эта голубизна становится синевой, сливается с морем. И никаких карет.

Песочные часы

Я ощущаю, как во мне переливаются песочные часы. Бесконечность неба втягивается в глубины вод. Песок медленно льется в узкую воронку. Не сыпется, а именно льется. Каскады преображают ручьи. Вода с тихим шелестом ниспадает к корням деревьев. Лианы оплели вековые дубы. Кольца на срезах хранят застывшее время. В суровом ботаническом саду на берегу моря нежным розовым огнем вспыхнул миндаль. Японская магнолия засыпает траву хлопьями белых лепестков. В щели между стенками домов и булыжной мостовой вырываются красные тюльпаны. В каждом дворике на крохотном зеленом пространстве умещаются столик и кресла. Жизнь, сжатая камнем. Груды гальки вместо песка вдоль полосы прибоя. Камни, отшлифованные волнами, нежны и гладки. Время замерло в них. Разрушенные каменные арки превратились в знаки вопросов. Радость сущего в его бесконечности. Песок в часах заканчивается. А все остается. И переливы моря, и перезвоны колоколов, и цветущие сады. Можно конечно перевернуть песочные часы и снова начать отсчет. Но это не в твоей власти.

Летучий голландец

Обреченный на вечное плаванье, ты бороздишь океаны. Ты не можешь пристать к берегу. Корабль-призрак, скользящий никому неведомым путем. Светящийся ореол на концах мачт – бегущие огни Эльма – предупреждают встречные в ночи корабли. Эти корабли трусливо меняют курс, убегая от тебя. А ты всего лишь хотел передать им почту от тех, кто давно покинул твой борт.

Твой капитан, неистовый и безумный голландец, полагал, что имеет право распоряжаться чужими жизнями. Он застрелил жениха самой красивой девушки и хотел овладеть ею. Но девушка выбросилась за борт. Разъяренное небо послало шторм и сделало невозможным дальнейший путь под парусами. Но твой упрямый капитан, сквернослов и богохульник, поклялся, что обогнет мыс Горн, у которого скопились все ветры мира. Он застрелил недовольных, тех, кто пытался образумить его. «Никто не сойдет на берег, пока не обогнем мыс Бурь, даже, если на это уйдет вечность! Клянусь дьяволами всех морей!» Вечность получил он в наказание за богохульство.

Но чем виновны матросы. Чем виновен трехмачтовый клипер. Давно уже нет на борту матросов. Их кости до ослепительной белизны отмыло море. Давно в клочья изорвались паруса, но бег

корабля никому не дано остановить. Мы могли бы! Но я не сумел убедить никого в том, что ты существуешь…

Не верящие ни в Бога, ни в Дьявола, болтавшиеся в морях уже больше полугода в сплошном тумане мы чуть не столкнулись с тобой, «Летучий голландец»! Ты возник справа по борту, ты был почти рядом, твои мачты не несли опознавательных навигационных огней, лишь светящаяся дымка прорвалась сквозь толщу тумана. Мы услышали заунывные звуки, похожие на жалобный плач, нам показалось, что само море тяжело и прерывисто вздыхает. Мы дали несколько пронзительных гудков, мы спустили с борта дополнительные кранцы, и были готовы баграми оттолкнуть тебя, когда внезапно ты исчез, растворился в уже начавшем редеть тумане, быстро как сахар в кипящей воде.

«Это корабль-призрак!» – воскликнул я. Но никто не хотел мне верить. «Это мурманчанин, – сказал наш капитан, - он идет на промысел и на нем еще не кончилась вся водка!» Я мог бы возразить: разве на рыбацких судах бывают такие высокие мачты. Но я не имел права спорить с капитаном. Ведь мы сами давно уже стали призраками. Рыбные косяки слишком далеко завели нас. И мыс Горн был на нашем пути.

Ионы

Мы так долго скитались по морям, что выцвели на переборках кают фотографии любимых. Все свои сны рассказав друг другу, мы превратились в одно существо. Очередная волна возносит нас вверх, и словно решив, что мы не достойны неба, низвергает в пучину. Но и воды не принимают нас. Мы забыли имя своего судна. Соль выела буквы на борту. Ветер истрепал все флаги. Мы пропахли рыбой и аммиаком и отрастили бороды, как у древних пророков. Ни один порт не даст добро на нашу стоянку у причала.

Иона – наше имя. Мы не желаем идти в библейскую Ниневию и призывать к очищению от грехов. Нас не пугает чрево кита. Возможно, он давно проглотил нас. И восходы, и закаты выдуманы нами. А визг лебедок и тралы, переполненные рыбой и вползающие по слипу – всего лишь въевшиеся в память повторы. Трюмы наши забиты доверху. Лишь мукомолка – рыбий крематорий продолжает изрыгать приторный дым. Посыплем головы теплой рыбьей мукой и раздерем свои истлевшие от пота одежды. Не будем искать виновных, чтобы выбросить за борт, мы все – ионы. Мы, не возвратившиеся в срок, обрекаем на блуд своих жен. Они устали стоять на причалах с высохшими цветами в руках. Утрачен счет дням.

Страна, где находится порт приписки, сменила название под надоевшие такты “Лебединого озера”. Она обрела свободу, которую мы искали в морях. Сумеем ли мы поведать о том, какие ветры рождает свободная стихия. Мы давно разучились говорить и объясняемся жестами. Да и жестов нам много не надо. Ведь мы одно существо. И не можем различить – кто же у нас капитан. Ведь только он знает путь в Ниневию.

Одиссей

Отказываюсь от соблазнов и наслаждений. Привяжу себя к стулу, как Одиссей к мачте корабля аргонавтов, залью свои уши воском, чтобы мир существовал только внутри меня, чтобы там, в глубине души, рождались еще никем не услышанные мелодии. И если попрошу отвязать меня, не слушайте, а еще крепче стяните ремни на моих руках. Мой корабль попал в безветрие и его затягивает в пролив между островами, между Сциллой и Харбидой. Я не слышу пения сирен. Но чувствую, как волна наслаждения набегает на меня. Воск тает в моих ушах. И открываются мои глаза. Я вижу не сирен с телами женщин и когтистыми лапами, это призрачные, сиреневые женщины сошли с полотен горбатого гения. В платьях с кринолином они таинственны, как летние облака. Они меняют формы и цвет. И я слышу чарующую музыку и сладкозвучное пение.

Я столько раз обманывался в жизни и все равно ничему не научился. Как Одиссей, предупрежденный Цирцеей, я тоже предупрежден Гомером. Я знаю: эти обманчивые женщины, поначалу прекрасные, сейчас превратятся в сирен. Они сидят на цветущем лугу посредине скалистого острова. Я забыл залить воском свой нос. Дразнящий запах цветов и женской плоти проникает в меня. Господи, огради, шепчу я. Ремни вот-вот лопнут на моих плечах. Смерть за ночь любви – об этом я тоже предупрежден. Неповторим их облик, распущенные золотистые волосы волной ложатся на смуглые плечи. Когтей не видно, они скрыты цветами. Когти, которыми они растерзают того, кто соблазнится их пением и телом. Не таков ли был Бут – похотливый аргонавт, забыв все на свете, он бросился в море, едва заслышал призывные звуки. Устоять невозможно. И тогда, чтобы спасти аргонавтов, Одиссей берет лиру и поет свою песню. Она ведь тоже прекрасна. Даже сирены смолкают.

Могу ли я запеть. Я, лишенный голоса и слуха. Внутри меня рождается мотив, который невозможно записать нотами. У меня

есть только слова, чтобы объяснить вам – даже привязав себя к мачте, даже залив уши воском и заткнув нос, даже зажмурив глаза, невозможно уйти от мирских соблазнов. Мы сами порождаем их из снов и своих фантазий. Кости погубленных людей усеивают придуманные острова. Разбитые сердца заполняют пещеры. И не смолкает пение сирен.

Пробуждение

Окутанный пеленой сна, в какие-то мгновения проживаешь длинные мучительные годы. Холодный пот проступает на лбу. Сейчас свершится непоправимое, и ты ничего не можешь сделать. Ты не волен изменить сон. А возможно, это вовсе и не сон. Вот тебя ласкает женщина. Рыжие завитки волос пахнут полынью. Ты знаешь, как хрупко счастье, ты знаешь – сейчас она исчезнет, растворится в наполненном зноем воздухе. Ей грозит гибель, которую ты не можешь предотвратить. Ты кричишь, широко открывая рот, но никто тебя не слышит, ведь ты не издаешь ни звука. Руки налились свинцом. Тебе уже нечем дышать. Сердце сдавило. Тебя окружают со всех сторон. Люди, перед которыми ты виновен. В чем твоя вина – не ясно даже тебе самому. Велят раздеться и стать к стене. Надо сопротивляться. Надо ущипнуть себя, чтобы прекратить кошмар сна. Проткнуть его тонкую призрачную оболочку. Очнуться и обрадоваться наступившему утру. В полудреме возвратиться в обычную жизнь. А вдруг – ее нет, нет вовсе этой обычной жизни. Просто она приснилась когда-то.

Ты прервал надоевший сон и очутился в бездне страданий. Нельзя ничего прерывать насильственно. Проткнешь оболочку сна, и очнешься в еще более ужасном мире. Но что может быть ужаснее – ожидания пули возле саманной стены. Это же целинный барак, вспоминаешь ты. Это все уже было. Пьяные комбайнеры, закончив уборку, разбивали свои комбайны о стену барака. Чтобы не достались казахам. Тогда ты встал на их пути. Не повторяй ошибку дважды. Та другая жизнь – вещий сон. Пусть сильней разгоняют свои машины. Стена должна рухнуть. Ты приготовился к прыжку. И рыжая женщина парит над тобой. Весна Боттичелли дарит свою улыбку. Конвоиры задрали головы вверх. Стена беззвучно оседает, вздымая степную пыль.

Какое счастье, что ты не прервал сон. Ты ведь мог очнуться совсем в другом времени, там, где нет надежд на спасение. Ты мог очнуться в огне Варшавского гетто. Или в городе Красном на Смоленщине 8 апреля сорок второго года, где твоего двойника –

спрятанного младенца, выволокли из люльки и ударили головой об лед…

Здесь же в твоем сне, хотя и царит степная жара, ты свободен. Ты бежишь босиком по траве, бежишь навстречу со своими друзьями. Они давно уже живут в этом сне и объясняют тебе наперебой, как опасно пробуждение.

Ежели не слышал ты?

На перекрестии дорог, раскинув руки, лежу неузнанный вами. Головой к северу, ногами к югу. Так заповедано. Ибо когда мессия призовет, встану и пойду на землю обетованную. И не надо будет мне поворачиваться. А пока глаза мои прикрыты и ни один мускул не дрогнет.

Муравьи ползут по проторенной тропе на теле моем. Паук сетью оплетает мой рот. В волосах моих вьет свое гнездо беспокойная птаха. Карманы мои давно вывернули добрые люди. Ничего не хочу слышать, ни с кем не хочу говорить. Услышанное лишь умножает печали. Словами не исправишь мир и никого не спасешь. Погружаясь в себя, открываешь тайны своей души. Рассасывается наслоение обид и меркнут запоздалые раскаяния. Лишь страдания униженных предков переполняют меня. Травы и воспоминания прорастают в меня. Машины объезжают меня и пешеходы перешагивают через меня. Никто не хочет наклониться и нащупать мой пульс. Мое сердце медленно, но бьется. Кровь пульсирует в висках. Никто не догадывается об этом.

И я замер, чтобы не выдать самую главную тайну - я еще жив. Ночью, приоткрыв глаза, я вижу мерцающий свет звезд, я слышу шорохи ночных трав, я чувствую дыхание остывающей земли, я пытаюсь согреть ее остатками своего тепла. В мои сны приходят покинутые мною друзья и вереницы измученных людей на краю кровавых рвов. Я сплю чутко. Я должен услышать призывные трубные звуки. И тогда я встану, отряхну песок и землю с тела своего и приду к тебе, Господи. И спрошу: ужели не слышал ты отчаянных молитв стариков и предсмертных криков детей в газовых камерах Аушвица?

Alter Ego

Упала ночь на измученную заботами землю и накрыла мантией снов. Глаза завязала плотно, без просветов. Маленькая репетиция смерти, повторяющаяся постоянно. Только в вязкой тишине можно осознать свое бессилие. Потраченные слова не возвращают-

ся и никого не могут вернуть к жизни. Бесплодные симукляры бродят по желтеющим страницам. В который раз Анна Каренина бросается под поезд и умирает от любви несчастный Вертер. Клонировать себе подобных утомительное занятие. Блеяние овечки Долли не насмешка ли над ее создателями.

С завязанными глазами в абсолютно черной комнате попробуйте отыскать соучастника. Бесполезно рыскать руками. Он внутри вас. Выдавить его из себя не удастся. Он прельщает утопиями, наслаждениями и дарами, он нашептывает о вашей исключительности. В рассветные полусны возвращает любовь. Он сам поймал вас, можете развязать глаза и начать новый день.

Номера на мраморных руках

В августе, когда тени становятся тонкими и почти прозрачными, когда вода теплее воздуха, город переселяется к морю. Найти пустынный пляж не так-то легко. Пожалуй, только в городке, где добывают янтарь, у заброшенных шахт. Только там можно обрести простор и казалось бы спокойствие.

Возле шахты Анна, напротив памятника есть лагуна, где вода еще теплее, чем в море. Мои спутники входят в воду. Брызги рождают радугу. Они смеются, но я не слышу их смеха. В моих ушах он превращается в сдавленные стоны. Я не могу войти в эту воду. В ней растворились тела молодых девушек. Они хотели жить и были красивы, еврейские девушки. Они хотели родить и вскормить детей. Они выжили в аду Освенцима, Треблинки и Штутгофа…Разутыми и голодными их гнали сюда в двадцатиградусный мороз. Они попали в эти воды январской ночью, их сталкивали прикладами на тонкий лед. Они покрывались ледяной коркой. Выстрелы, обрывающие жизнь, были избавлением от мучений.

Я не знаю их имен. У них были только номера. Эти номера на мраморных руках, тянущихся к небу. Они безмолвно молят о помощи. Там за памятником ресторан и звучит музыка. Я не хочу ее слышать.

Мои спутники выходят из воды, радующиеся солнцу августа. Они идут вверх по узкой тропе. Я останусь здесь до заката. И когда воду сделает кровавой вечерняя заря, я попрошу прощения у тех, чья жизнь оборвалась здесь. Попрошу прощения за то, что еще живу в этом жестоком мире, за то, что ресторан надвинулся на памятник, и за своих спутников, которые сейчас сидят в ресторане.

Шторм и штиль

Думая о спасении других, можешь ли спасти себя? Мы все обречены. Мы все в одной не совсем надежной лодке. Ни разу не мог насладиться радостями мира во всей их полноте. Казалось, был счастлив на рейде Лос-Пальмаса. Солнечный день серебрил гладь бухты. Плавбаза наша мерно покачивалась на прибрежной волне. В бинокли можно было увидеть дома, уходящие на взгорье, и фигурки женщин в белых накидках.

Мы стояли в ожидании шипшандлера*. Контора разрешила каждому сделать закупки. Я заказал зонтик и кофточку для жены. В те годы все было в дефиците, и заграничные вещицы особенно ценились. И еще шипшандлер должен был привезти так называемые скоропортящиеся – разрешалась закупка фруктов и овощей, но вместо них брали ром. Так что нас ожидал праздничный вечер. Пир под тропическими звездами. После шести месяцев выматывающей работы мы заслужили отдых.

Я сидел на палубе бака и играл в шахматы. В этот день мне особенно везло. Я не проиграл ни одной партии. Даже рефмеханик, обычно делавший со мной ничью, на этот раз был вынужден сдаться. Вечером мы с ним получили бутылку рома на двоих и два яблока. И еще пакеты для наших жен. Размягченные жарким днем, мы наслаждались холодом кондиционера в моей каюте. Мы вспоминали дни, когда нам особенно везло и включили в их число и этот день. Но память хранит не только счастливые дни.

Мы вспомнили тех, кого поглотил океан. И было уже за полночь, когда рефмеханик сказал: «Ты знаешь, я ведь замораживал бедолаг с большого траулера!» Траулер этот затонул в шторм, в Атлантике. Я был в комиссии, которая разбирала причины этой морской катастрофы. Слишком поздно они хватились – вода уже залила рыбцех и хлынула в машинное отделение. Был месяц март и те, которых удалось вытащить из воды, умерли от переохлаждения. Спаслись те, кто сумел влезть на плотик. Тела погибших доставили в порт. Моряков хоронил весь город. Десятки красных гробов медленно везли на открытых грузовиках. Подле гробов на машинах стояли те, кто спаслись, и спины их содрогались от рыданий. Я не забуду этот траурный день. Ярко светило весеннее солнце, но все, казалось, потемнело вокруг.

«Ты знаешь, - продолжил рефмеханик, - у тех, кого я положил в морозилку, пальцы рук были синие и все в ссадинах…Они цепля-

* *морской торговый агент*

лись за плотик, а те, кто сидел там, били их веслами по рукам…»

Меня всего словно окатило холодным душем, в тело, разогретое за день, вселилась дрожь. «Зачем ты сказал мне это! – закричал я. – Зачем!»

«Чего ты завелся, - остановил меня рефмеханик, - если бы они всех потащили в плотик, они наверняка перевернулись бы…»

Олег Глушкин *родился в 1937 года в городе Великие Луки, Псковской области. В войну был эвакуирован с семьей на Урал. В 1960 г. закончил Ленинградский кораблестроительный институт. Работал в Калининграде на заводе "Янтарь" докмейстером, в рыбной промышленности, на рыболовных траулерах в Атлантике.*

В 1985 году принят в Союз писателей. С 1975 по 1990 годы руководил молодежным литературным объединением "Парус". Издал 19 книг прозы. Рассказы и повести публиковались в журналах и альманахах, переводились на литовский, польский и немецкий языки.

В 1990 году избран председателем Калининградской писательской организации. Основал журнал "Запад России" и был его главным редактором по 1996 год. Подготовил и издал русскую часть антологии произведений писателей, живших и живущих на территории бывшей Восточной Пруссии. Книга издана на четырех языках. За реализацию этого проекта удостоен диплома с присуждением звания лауреата шестой Артиады народов России (2001 г), За вклад в развитие культуры Калининградской области и расширение контактов между российской и европейской культурой удостоен Диплома Канта (2000 г.) Награжден в 2004 году золотой медалью «За полезное» за просветительскую деятельность. Удостоен премии «Вдохновение» за книгу рассказов «Пути паромов», премии «Признание» за роман «Саул и Давид». Роман «Парк живых и мертвых» вошел в лонг-лист премии «Большая книга».

Составил и осуществил издание сборника «Кровоточащая память Холокоста», собрав и обработав воспоминания уцелевших узников гетто и лагерей смерти. Завершил эту работу изданным в этом году романом «Анна из Кёнигсберга».

ГЕННАДИЙ КАЦОВ

МЕЖ ПОТОЛКОМ И ПОЛОМ
Из новой книги стихов

Рассказать бы о том, как какое-то время спустя
Все удачно, как будто бы ты заслужил, завершилось:
От вчерашней дилеммы остался, мол, сущий пустяк,
Как от «Что? Где? Когда?» – доброй памяти В. Ворошилов.

Будет так незнаком этим временем вскрытый итог,
Этот дом в декорациях, чьих чертежей не проверить;
Рассказать бы о том, чем заполнился белый листок,
Что сквозняк не унес в навсегда приоткрытые двери.

В этом «после» закручена лампочка, и коридор,
Столько месяцев щурясь в проем в отдаленную спальню,
От испуга несет половицами чушь или вздор
С точки зрения с детства в углу узаконенной пальмы.

И укрывшись портьерой, расслабленный солнечный свет
Не готов пережить столкновения с плиточным полом:
Рассказать бы о времени том, для которого нет
На сегодня ни имени, ни – в перспективе – глагола.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ОКЕАНУ

Близка граница Новой Англии:
Повсюду яхты на приколе
И с белыми крылами ангелы
В апреле падают с магнолий.

Восток иначе, чем на западе
Встречает: ветер что попало

Пересчитает, даже запахи,
Как лучший ученик Каббалы.

С мост – расстоянье между штатами,
И светофоры несерьезно
Вкушают «красный» виски шатами,
С зеленым намешав «шартрезом».

От ритма нет с утра спасения:
Его в айфонах и на дисках
Легко по воздуху весеннему
Развозят велосипедисты.

С Катскильских гор, как внутрь кратера,
К слюде спускаясь океана,
Водители рефрижераторов
Рутинно доставляют прану.

И по утру себя отварами
Утешив, мыслю без задора:
Все в рифму описав, ты варваром
Смотрелся бы в глазах Адорно.

***

Идут часы. Тотально не везет
С механикой такой непопулярной.
Лишь муравей в бессмертие ползет
По скатерти, как к полюсу полярник.

Лишь эхом вечность катится в горах,
Хотя, как и любой предмет, причина
Его наверняка истлела в прах.
Лишь стрелки циферблата – мерно, чинно

Не по ошибке, не под анашой,
Как не-пространству, в общем, и пристало,
Сперва ускорят ход одной – большой,
И ход навеки остановят – малой.

***

Зима в начале февраля
В таких местах, как графство Берген,
Ручная, словно словаря
Печать времен до Гуттенберга.

С утра покров, чей редкий пух
Как-будто лег по приглашенью
И в память о прошедших двух
Бесснежных месяцах – в смущеньи,

В полдюйма выпав высотой.
Двор сразу выглядит, как новый:
В нем мальчик с девочкою той –
По росту и пальто дюймовой.

Они, как пара зрелых душ
Предвидят, лепят, осеняют,
И поправляют на ходу,
И все уже об этом знают.

Он перед ней, как юный бог,
И чьим-то позабытым жестом,
Дюймовочка его то в бок
То в спину поддает по-женски.

Все розовее круглый снег
В ее руке, и несердиты
Две бабы снежных, что в окне
Явились мне, как Афродиты.

Верней одна, как Афродит,
Та, что по замыслу есть парень –
И не мигая, в двор глядит
Неловко слепленая пара.

С утра начавшись, вышел день.
Под вечер разгулялся ветер,
Затем на небе бросил тень
Снежок туда, где были дети.

И сразу жизнь как истекла,
И стал словарь от слов чернее:
Теперь, до первого тепла,
Он постареет вместе с нею.

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ИЮЛЯ

В спокойствии пространства в вышине,
Там, где вовек проставлены цезуры,
Способны птицы, либо их авгуры,
Предсказывать судьбу тебе и мне.

Бескрайний и невидимый каркас
Бесцветных прутьев образует клетки,
Где крылья, в воздухе оставив метки,
Тем самым обнаруживают нас.

Мы – те, кому за ними наблюдать:
И зеркало над небом и над лесом
В полете отражает мелким бесом
Себя в стремлении других создать,

И сад ночной с наличием плодов,
Чьи имена нисколько не похожи
На разных языках – их уничтожить
За шесть-семь дней не стоит и трудов.

И циферблат из лунного тепла,
Что обожжет окно, ткань переплета
Проколет стрелкой и пронзит кого-то
Там, под дождем из мутного стекла.

МЕЖ ПОТОЛКОМ И ПОЛОМ

Поверхность зеркала объемна, ибо вместе
В ней отражаются все видимые вещи
С невидимыми, что находит глаз
Листу писчебумажному подобным,
В котором так же отражается подробно,
Пока без букв, законченный рассказ.

Писатель, по Бланшо, есть тишины хранитель,
Паук безгласный всех ее сюжетных нитей,
Зане от тлена в срок уберегла
Предмет, что был меж потолком и полом –
Теперь в безмолвии мертворожденный полном
Уже по эту сторону стекла.

Перемещения вещей (все эти годы
Они живут в моменте перехода,
Пройдя врата из самых узких рам)
В любых осях координат непредставимы,
И наблюдателю со стороны почти незримы,
Как зал со сцены в освещенье рамп.

Рожденный в зеркале со всеми остается,
Приобретая их черты и текстом сходство
С прошедшим, для которого равны,
Как все татуировки смуглой кожи
Под вздутым бицепсом кривляются похоже,
Те, кто в себя смотрел со стороны.

***

И тот – не я, и этот, и другой -
опять не я, живет на этом свете.
Сейчас листок каракулями метит
Незнамо кто. Какой-нибудь “гуд бой”.

С ним по утрам здороваются дети,
Он ежедневно спит с моей женой,
И отразится в зеркале не мной,
По ходу отраженья не заметив.

И это хорошо, ведь, боже мой,
Так все известно, и за все в ответе,
А тут: и некролог не мой в газете,
И чьи-то шмотки доедает моль.

УТРО С ЭЛЕКТРОБРИТВОЙ

И отраженье бритвы, и щека
С седеющей и утренней щетиной
Пока не выдают, что за мужчина
Глядит анфас на это свысока.

Затем – ноздря. Рисунок носа скуп,
И с нижним веком связанное что-то –
Разрыв в забытой драке… Бутербродом:
Язык торчит из неподвижных губ.

Тяжелый подбородок; все равно
Откуда сеть морщин на лбу, и ухо
Не слышит бритвы, как и прочих звуков,
Внутри немого, в этот миг, кино.

Зрачок, рисуя весь овал лица,
Захватывает ткани амальгамы,
Пока за грань не выступая рамы –
И начиная заполнять с конца,

С угла вносить из вековых стволов,
Из птиц (что у зеркал – диагонали),
Сплошную лессировку, что едва ли
Не в состояньи разрезать стекло.

Все за спиною выглядит, как лес,
Который разрастается мгновенно,
Как в мраморе – от всей системы венной,
Как в зеркале – любой его надрез,

Любой его участок, что сейчас
Уже чернеет вдоль границы нижней –
Пусть все бы это выглядело книжной
Страшилкой, но отсутствие плеча,

Как базиса, всего, что есть над ним,
Как нас учили, всей его надстройки,
По типу уха, горла, носа – тройки,
Чей был бы вид не переоценим,

Да всюду, как взбесившимся плющом,
Все то, что лезет, заполняя чаще
Сухую плоскость – реки, горы, чащи,
И то, что не назвать, что ни о чем,

Что сам квадрат, закрученный кольцом,
Оставленый над вертикальной бездной,
В которой отражаться бесполезно –
Какой-то частью, либо всем лицом.

И сразу время, выбрав, что могло
До дна, до леденящего покоя,
Как ворон, улетает с поля боя.
Как войско, что навеки полегло.

СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Повторяемость оптики: достигнутая мгновенно цель
Порождает последствия. И позже совсем не важно,
Что для прошлого остается – отпечатком на линзах «цейс»,
В оцифрованном виде, в формате фотобумажном.

Все, что было: взгляды, «рожки» пальцами – антураж
Из условностей, что и есть предмет фотосессий,
Превращает близкий образ в средний план, в типаж,
В чуждое «некто» – с жеманной улыбкой в процессе

Перехода из прошлого, что роняло привычно слова,
Что сморгнуло (реакция на увлечение фотовспышкой),
Рожи корчило – в статичность статуй, в знакомый едва
Персонаж объектива, далее сдавленный черной крышкой.

Снимок этот теперь не вместить в прожитый вместе миг –
Инородное тело, с коим будет проблема на совместимость;
Двух времен невозможный, возможно, смертельный микс,
С тем, что в нем исчезает с годами необходимость.

Не досталось ничего и грядущему – в безразличном там
Эти фотоулыбки и взгляды, будто залитые муссом,
Как бессмысленный имидж, отправит во вселенский спам
Потомок. А найдя фотокопию, навеки опустит в мусор.

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ОН ЕСТЬ

Я оттого и не сошел с ума,
Что шел во сне; не умер от удушья,
Когда, уткнувшись всем лицом в подушку,
С нее спускался, как в ночи с холма.

Возможно, это был кошмар ночной,
И было незнакомо время года,
И неизвестно, сколько здесь народа,
И почему он следует за мной.

И кто они? В присутствии толпы,
С устойчивым в ней запахом телесным,
С гудящей и вослед плывущей бездной,
Что столько серебра истерла в пыль,

Я узнавал по избранным чертам –
ЕГО: в ершистом инвалиде сбоку,
В котором не увидеть связи с Богом,
Ну, разве в том, что не умрет он сам;

В младенце, жадно стиснувшим сосок,
На мать косящим ненасытным взглядом;
В охотнике, что брел охотно рядом,
На грудь принявшим как всегда чуток;

В густых оливах, что спускались вслед
Толпе, теснясь на неуютном склоне
И в спину тех подталкивая, кто не
Распознавал вдали застывший свет;

В раскрывшемся над нами, в вышине,
Куда не долетит горячий ветер,
Таком знакомом и чужом портрете;
Во взглядах, обратившихся ко мне,

Пока я вел толпу, и твердо знал
Весь путь, свои определявший цели
По всякому препятствию, что стелит
Он перед нами: пропасть, перевал,

Сухой кустарник, рвущий тут же в хлам
Одежды, камни с пылью под подошвой,
И спертый воздух, нестерпимо душный
Не только здесь, возможно, но и там.

Я брел, как будто бы я знал – куда,
И знал – зачем, по звездам путь сверяя,
Но люди шли за мной, мне доверяя,
И я сгореть готов был со стыда,

Поскольку ничего им объяснить
Не мог бы: кто, зачем, куда, как долго?
Ведь все, что происходит – вроде долга,
Который не на кого мне свалить,

И не с кем разделить, как делят хлеб,
Как делят навсегда и сразу судьбы:
Я был один, и смежные сосуды
Не сообщались. Вот тогда бы мне б

Проснуться, но в ночи не мог никак
Открыть глаза, услышать автостраду,
Что за окном который месяц кряду
Звала. И наволочка, что наждак,

Мне стёсывала профиль, и лицо,
Спускаясь по подушке в неизвестность,
Входило в ту толпу и в ту же местность,
Где оставляют не анфас – кольцо.

И все, о чем догадывался в том
Моем возможнейшем из сновидений:
Я их веду, без пищи и без денег,
Туда, где всех нас поведет потом,

После меня, подобием чтеца,
Что следующую прочтет страницу,
Тот, кто войдет в анфас, кому приснится,
Что свой маршрут он знает до конца.

***

Когда-нибудь, когда мне умирать
Объявят час (допустим, будет вечер),
Я, больше из желанья подыграть,
В настенном зеркале с собой назначу встречу
В последний раз. И постелю кровать.

Налью в стакан покрепче алкоголь –
Нелегкий путь и дальняя дорога
Мне предстоят; и, вероятно, боль
Когда душа без тела, понемногу
Свыкаясь, подберет другую роль.

На прикроватной тумбочке торшер
Ночной включу, и что-нибудь из Баха
Поставлю: Глена Гульда, например,
Из «Гольдберга». И, не трясясь от страха,
Скажу сквозь зубы: «Здравствуй, Люцифер!», -

Прорепетировав, должно быть; а затем
Улягусь, и прохладна будет простынь,
И дом замрет, и, непривычно нем,
Глаза закрою – в этот раз непросто
Их будет закрывать. Как насовсем.

Глаза закрыв, я лягу на бочок
По маминому мудрому совету,
Покрою простыней свое плечо
И выключу торшер. Теперь, без света,
Мне легче будет думать ни о чем.

Осталось ждать. Еще налить грамм сто?
Хотя, для поддержанья настроенья
Вполне достаточно. Как-будто ты мостом
Отсюда переброшен вверх, где тени
Тебя еще не принимают в мире том;

И словно слышишь: рядом засопел,
Приятно и нестрашно, как бывает
Ребенок – ты, кто за день все успел
И в этот миг к Морфею отплывает,
Туда, где вашей с ним судьбы предел.

Он, в странном сновиденьи, со спины
Тебя обнимет, чтобы вам согреться,
Скуля, что в смерти нет его вины,
Уснет в одном из снов твоих из детства –
И будут все из снов твоих видны.

ПОРТРЕТ

Старик, прохладной выпив простокваши,
Макая хлеба мякиш ровно так,
Чтоб и обратно вытекала в чашу
(А в этом деле он бывал мастак)

Молочно-вязкая, из наболевших сгустков
Душа напитка, что в беззубый рот
Вольется, вызывая этим чувство
Того, что одиноким не умрет,

Старик, в ладонь собравший крошек черных,
Как мошек к ночи безымянный сад,
Кладет их на язык, и увлеченно
Глотает, откровенно пище рад,

Как рад впитавшимся в ладони краскам,
В лазури с охрой пальцам, столько лет
Ощупывавшим тайно и с опаской
Всегда почти живой автопортрет –

Один, другой, двадцатый, в свето-тени,
Подчеркивавшей возраст молодой,
А позже зрелый, а затем уж, к теме,
Бездомный и по старчески седой.

Старик сейчас всей тенью на портрете,
Не начатом, глядит; но здесь, на том,
Спустя четыре с чем-то века, свете
Тот холст последний – стол ему и дом.

ВСЕ О ЖИЗНИ

Мир, как конструкция, не безнадежен:
Ухо все делит на слог и на шум,
Глаз, как и нос, исключительны тоже,
И, не порезаться бы, острый ум.

Он же и мыслит, и не как попало:
Школа, семья да настойчивый труд
Так интеллект развивают с начала,
Что не припомнить в конце, как зовут.

Жизнь объяснима, хоть эту страницу
Взять для примера: до боли пуста –
Трудно представить, что что-то случится
В месте, которого не было. Так

Явятся музыкой разные звуки,
И в яйцеклетке – весь прочий балет.
Собственно, сами аз, веди и буки
Из ничего появились на свет.

Дальше – в пути, как дорога и скатерть,
Мир двухполярен, от сих и до сих:
Так вот и вы, дорогой мой читатель,
Тут же уйдете, лишь кончится стих.

Геннадий Кацов *- известный в 1980-е годы поэт и прозаик, участник московской литературной группы "Эпсилон-салон" и один из основателей московского легендарного клуба "Поэзия". В 1989 году эмигрировал из России в США. Живет в Нью-Йорке, занимается журналистикой, работает на телевидении RTN.*

После долгого перерыва вновь вернулся к поэзии. В апреле прошлого года вышла в свет его книга "Словосфера", в которую вошли 180 поэтических текстов-посвящений мировым шедеврам изобразительного искусства. Презентации этого необычного произведения прошли в Америке с большим успехом. Автором был подготовлен поэтический сборник "Меж потолком и полом", который попал в лонг-лист "Русской премии" (Россия, фонд Б.Ельцина).

Подборку из этой книги мы предлагаем нашим читателям.

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

ЭТО СТРАННОЕ ЧУВСТВО СВОБОДЫ

Сумерки сгущались. Выглянув из своего уютного гнезда, устроенного в дупле старого раскидистого дерева, Чинчу втянула носом свежий холодный воздух и поняла, что пора. Путь предстоял неблизкий и непростой. Но там, на вершине горы в небольшой, выбитой ветрами ложбине, ее ждал Вангчук. И ее влекло к нему сильнее, чем прежде.

Она знала, что это будет их последнее свидание. И последняя возможность зачать потомка их древней династии, который должен ее продолжить. Она с грустью подумала о том, что все до сей поры родившиеся дети не оправдали ее надежд. Рождались в основном девочки, которые теперь продолжали чужие династии, а двое мальчиков увязались за китаянками и сгинули. Настоящего наследника не получилось. И теперь, взбираясь по круче и чувствуя, что силы уже на исходе, она втайне надеялась, что ей все-таки удастся подарить миру настоящего принца.

– А я заждался, – ласково сказал Вангчук, протягивая ей лапу. – Ты устала?

– Немного, – ответила Чинчу и, угнездившись в ложбине, обняла его. – А ты?

– В полном порядке, – со смехом обнажил зубы Вангчук. – Я здесь уже с утра. Запасся свежим бамбуком. Ты, наверное, проголодалась.

– Не очень, – рассмеялась Чинчу. – Успеем попировать. А сейчас я соскучилась.

– Я тоже, – признался Вангчук.

Потом они лежали, обнявшись, и смотрели, как на небе зажигаются звезды.

– Ты уверена, что сможешь его выносить? – спросил Вангчук.

– Уверена. Иначе и быть не может. Вот только потом...

– Я помогу тебе на этот раз. Мне тоже недолго осталось жить. Может быть, я смогу его кое-чему научить. Чему не смог научить других детей.

– Это не твоя вина. Так устроена жизнь. Ты не был обязан помогать мне.

– Обязан не был, но мог. И не сделал. Теперь жалею.

– Не кори себя. Что было, то прошло.

– Ты помнишь, как мы встретились в первый раз?

– Конечно, помню. И как нашли эту ложбину.

– Здорово, что ее никто потом не присвоил.

– Пусть бы попробовал! Я бы ему нос выгрызла.

– Ух, какая ты кровожадная, оказывается! Давай, однако, поспим, а то скоро рассветет.

Чинчу уткнулась носом в пушистое плечо Вангчука и провалилась в сон.

Проснувшись утром, она не удивилась, не обнаружив его рядом.

– Так устроена жизнь, – повторяла она про себя, спускаясь с вершины горы в свое гнездо.

Через три месяца она родила сына.

И удивилась, когда на следующий день объявился Вангчук.

Он втиснулся в дупло со связкой полузадушенных мышей и, положив их рядом с ней, сказал:

– Я пришел как обещал. И я теперь все время буду с вами. Можно мне на него посмотреть?

– Разумеется. Ведь он твой сын.

Вангчук с трудом разглядел свернувшийся под грудью у Чинчу маленький слепой комочек.

– Правда, он красивый? – с нежностью спросила Чинчу.

– Правда. Как ты хочешь его назвать?

– Я хотела дать ему королевское имя. Дорджи Вангчук. Ты не против?

– Почему я должен быть против? Только с таким именем ему будет трудно жить.

– Почему?

– Простые малые панды будут его сторониться, а примут ли его в свою компанию родовитые, еще бабушка надвое сказала.

– Да он их всех за пояс заткнет когда вырастет, – не согласилась Чинчу. – Кровей ему не занимать. Не переживай. А мы его будем звать просто Дорджи.

Когда Дорджи открыл глаза, то первым увидел отца.

– А где мама? – спросил он.

– Пошла проветриться, – улыбнулся Вангчук. – Ну что, малыш, лучше стало жить на свете?

– Ты что имеешь в виду? – не понял Дорджи.

– То, что ты теперь зрячий.

– Пока непонятно, – растерялся Дорджи. – Я ведь еще не освоился. А это наш дом?

– А то как же, – заверил его Вангчук. – И я, между прочим, твой папа.

– Это я знаю, – обрадовался Дорджи. – Ты за мамой ухаживал, пока я был маленький.

– Можно подумать, что ты уже большой, – засмеялся Вангчук. – Тебе еще расти и расти.

– А это долго? – забеспокоился Дорджи.

– Как тебе сказать, – задумался Вангчук, – месяцев двенадцать или чуть больше.

– А сейчас мне сколько? – спросил Дорджи.

– Три недели.

– Ты мне объясни, – попросил Дорджи, – чем отличается неделя от месяца.

– В одном месяце примерно четыре недели. А в неделе семь дней.

– А что такое день?

– День – это когда светло. Ты пока этого не знал, потому что не видел. А теперь увидишь.

Вангчук поднес сына к краю дупла, и Дорджи ослепило солнце.

Так Дорджи начал постигать мир. Со временем он научился различать день и ночь, сумерки и рассвет, и понял, что лучшее время – сумерки, а все остальное ерунда. Через три месяца после рождения он начал выходить с отцом и матерью на прогулки, которые с каждым днем становились продолжительнее. Скоро он уже смог постичь размеры своего пространства и изумился их необъятности.

– И зачем мне столько? – думал он, когда мать с отцом показывали ему границы его обитания.

– Это все твое, – внушал ему Вангчук, – и никто не имеет права посягать на твою территорию. Ты найдешь свою половину, и у вас родятся дети. Им тоже нужно пространство, чтобы жить. К сожалению, твои старшие братья ушли за границу. Твои сестры повыходили замуж и живут в других местах. Мы сохранили этот ареал для

тебя и твоих потомков. Ты единственный, кто может и должен продолжить наш род.

И Дорджи проникался чувством ответственности.

– В Китай не ходи, – напутствовала его мать. – И в Индию тоже. Там на нашего брата охотятся.

– Это очень опасно? – спрашивал Дорджи, поскольку не понимал, что значит охотиться.

– Это значит – убивают. Понимаешь, малыш, наша шкурка слишком красивая. И из нее двуногие делают шапки, воротники и шубы. Здесь, в Бутане, мы находимся под покровительством самого короля, поэтому опасаться их не приходится, а в Китае и в Индии закон не писан.

– А что такое закон? – не унимался Дорджи.

– Закон – это правило, которому надо следовать. Тот, кто его нарушает, несет наказание. По крайней мере так было раньше. К сожалению, в последнее время слишком много охотников его обходить. И что самое прискорбное, им это удается.

Через год, пробегая вдоль восточной границы своего владения, Дорджи увидел рыжую красавицу и увязался за нею. Когда она присела на камне вблизи реки, он осмелился приблизиться и тихо спросил:

– Как тебя зовут?

– Дагана, – ответила она, мягко потянувшись и обратив острую мордочку прямо на него.

– А меня Дорджи, – представился он. – Ты откуда?

– Из-за горы, – Дагана показала лапкой на темную громаду.

– Ты бутанская или китайская? – на всякий случай спросил Дорджи, помня материнские напутствия.

– Бутанская, – заверила его Дагана. – А ты?

– Я тоже, обрадовался Дорджи. – Хочешь пойти со мной? Я тебе кое-что покажу.

Экскурсия завершилась обедом с Чинчу и Вангчуком. Родители Дорджи приняли Дагану как родную.

Вскоре Дорджи и Дагана свили свое собственное гнездо, и у них родился сын Монгар.

Дедушка с бабушкой порадовались внуку и через какое-то время пришли попрощаться.

– Куда вы собрались? – недоверчиво спросил Дорджи.

– Туда, куда уходят состарившиеся, чтобы не быть обузой ныне здравствующим, – с улыбкой сказал Вангчук. – Так устроена жизнь, и ты живи достойно и счастливо.

Дорджи понял, что больше их не увидит. Ему стало грустно, но всмотревшись в спокойные лица родителей, он обнял их и сам успокоился.

Чинчу и Вангчук медленно поднимались в гору к своей ложбине. В небе зависла полная луна, которая освещала их последний путь. И они не торопились.

– Я хотела спросить тебя, – прервала молчание Чинчу, – почему ты исчез после нашей последней встречи в ложбине? Судя по твоим словам, ты уже тогда был не против остаться.

– Не знаю, – задумчиво произнес Вангчук. – Это странное чувство свободы... Я никогда толком не мог его понять. Скажи, ты ни разу его не испытывала?

– Оно всегда жило во мне, – ответила Чинчу. – Просто чувство долга было сильнее.

Они добрались до ложбины и устроились в ней, чтобы уснуть навечно.

– Ты счастлива? – спросил Вангчук.

– Да, – сказала Чинчу. – Видишь эту звезду? Она светила нам, светила нашим детям и будет светить нашему внуку и его потомкам. И пока она будет светить, мы будем живы.

На рассвете звезда растаяла. И они уже этого не увидели.

Помня наставления Вангчука, Дорджи помогал Дагане, стараясь передать сыну то, чему научился от отца. И Монгар с каждым днем радовал его все больше и больше. Но однажды на охоте Дорджи овладело странное чувство, которое повлекло его в противоположную от дома сторону. Почему-то ему захотелось добраться до горы, из-за которой пришла Дагана, и посмотреть, что находится за ней. И повинуясь этому чувству, он побежал вдоль реки, забираясь все выше и выше. Добравшись до отвесного гладкого склона, он понял, что его не одолеет и решил перебраться через реку по торчащим из воды камням на другую сторону, где склон был более пологий и поросший небольшими деревцами и плотным кустарником. Он не заметил, как река вспухла и затопила камни. Поток снес его с тропы и потащил вниз по течению. О том, чтобы выбраться на берег, нечего было и мечтать, и Дорджи поплыл, стараясь не захлебнуться. Вода прибывала не на шутку.

– Так тебе, дураку, и надо, – подумал он, с тоской вспомнив о Дагане и маленьком сыне.

Держаться на плаву становилось все труднее, но Дорджи не сдавался. Внезапно с ним поравнялось дерево, и он инстинктивно уцепился за него.

– Не вздумай меня отпустить, – повелительно сказало дерево, – и попробуй на меня взобраться.

– Ты откуда взялось? – удивился Дорджи.

– Тебя пожалело. Без меня ты бы пропал.

– А ты что, меня знаешь? – еще больше удивился Дорджи.

– Как же мне тебя не знать, – усмехнулось дерево, – ведь ты в моем дупле родился. Жаль, что в нем теперь полно воды, а то мог бы и сушеными грибочками полакомиться. Твоя матушка там всегда запасец хранила. Когда она ушла, я скучало.

– Я до сих пор скучаю, – признался Дорджи.

Отдышавшись, он вскарабкался на толстый шершавый ствол и, распластавшись на нем, поблагодарил судьбу за посланное спасение.

Дупло действительно было полно воды, но Дорджи удалось выудить несколько размокших грибов, которые он с жадностью съел. Потом наступила ночь, и Дорджи от усталости на какое-то время забылся.

– Не спи, малыш, – разбудило его дерево, – во сне ты можешь с меня свалиться. Второй раз я тебя уже не спасу.

И Дорджи стал ждать рассвета.

Утром он почувствовал, что сила бегущей воды начала ослабевать, но, осмотревшись, приуныл. Река разлилась так широко, что он едва разглядел ее берега. Правый берег однако медленно приближался, и скоро дерево застряло в густом тростнике.

– Иди, малыш, – подбодрило его дерево, – обо мне не беспокойся. Я свою жизнь почти прожило.

– Почему почти? – не понял Дорджи. – Что ты имеешь в виду?

– Мне осталось сгореть и принести людям тепло.

– А кто такие люди? – спросил Дорджи.

– Двуногие. Ты их, наверное, скоро увидишь.

– А почему им нужно тепло?

– У них нет такой шубы как у тебя. Иди и постарайся не делать больше глупостей.

– Разве свобода глупость? – растерялся Дорджи.

– Свобода – странное чувство. Если следовать ему с умом, можно обрести счастье самому и сделать счастливыми других. В противном случае свобода может обернуться полным безобразием.

– А ты было свободно?

– Я и теперь свободно, – ответило дерево, – и потому счастливо.

Дорджи попрощался с деревом и плюхнулся в воду. Ему скоро удалось выбраться на твердую почву, но он настолько обессилел, что не успев задаться вопросом – «где я?» – тут же заснул.

Разбудили его два голоса, негромко беседующие над его головой.

– Как ты думаешь, он живой или мертвый? – спросил один.

– Раз дышит, значит живой, – отозвался второй.

– А он вправду дышит? – усомнился первый.

– Похоже, что да. Гляди, и глаза открыл.

Дорджи действительно открыл глаза и с удивлением обнаружил одетых в пестрые рубахи двуногих особей со смуглой кожей и черными волосами.

– Ой, а он не укусит? – испуганно пробормотал первый, который был маленького роста.

– Не думаю, – ответил высокий, – хотя кто его знает. Он, наверное, голодный.

Тут Дорджи и впрямь почуял признаки голода и почему-то обрадовался.

– А что он ест? – опять проявил любопытство маленький.

– Бамбук, – со знанием дела пояснил высокий. – И еще всякую мелкую живность. Нам он не угрожает.

– А как он сюда попал? Я раньше таких зверей не видел.

– Наверное, в реку упал, вот она его и притащила. Здесь они не водятся.

– Почему?

– Тут слишком жарко. Посмотри, какая у него шуба.

– Красивая. Папа, а можно, он с нами поживет?

– Думаю, что нельзя. Это дикий зверек. В неволе он погибнет.

– А что же мы будем с ним делать?

– Спросим у мистера Джонса, нашего ветеринара, – решительно ответил высокий, поднял Дорджи с земли и понес прочь от реки. Сынишка засеменил следом.

Увидев Дорджи, мистер Джонс чрезвычайно удивился.

– Вот так находка, – заулыбался он, осматривая Дорджи, – хорош, хорош, ничего не скажешь. Молодой еще, года два примерно. И здоров. Оголодал только. Ничего, подкормим, подсушим, будет как новенький.

– А дальше как быть? – спросил отец. – Ведь в деревне его не оставишь. Ради шкуры украсть могут.

Дорджи понял, что попал в Индию.

– Вы правы, Гопал, – посерьезнел ветеринар. – Я позвоню в Калькутту, в зоопарк. Там главным ветеринаром мой коллега, мы с ним вместе учились. Думаю, что это наилучший вариант для вашего найденыша. А пока суть да дело, я сам за ним присмотрю.

– А мне можно будет с ним поиграть? – нерешительно спросил сын.

– Если он будет не против, Каси, – прищурил глаз мистер Джонс. – Приходи завтра.

Дорджи прожил у мистера Джонса неделю. За это время он отъелся и отдохнул, а, кроме того, подружился с Каси и его приятелями, которые приходили каждый день. Мистер Джонс поместил Дорджи в просторный вольер, где ему было вполне вольготно, а мелкая сетка надежно защищала его от змей и других непрошеных гостей. С детьми он с удовольствием играл в мяч, но трогать себя не позволял, да они, к слову сказать, к этому и не стремились, видимо, получив соответствующие наставления от ветеринара. И когда за ним пришли люди из Калькутты, Дорджи стало жалко расставаться и с мистером Джонсом, и с другими обитателями деревни, которые были к нему так добры. Мистер Джонс почувствовал это и, прощаясь, сказал:

– Не беспокойся, малыш, теперь у тебя будет совсем другая жизнь, и она будет не хуже той, которую ты вел на свободе.

В Калькутте Дорджи пробыл недолго. После карантина он был посажен в самолет и отправлен в вашингтонский зоопарк.

Перелет Дорджи проспал, а когда проснулся, сразу почувствовал неудобство. Мордочку что-то крепко стягивало, да и лапы были перевязаны лентами, хотя, впрочем, он мог ими шевелить. Он лежал на большом столе в центре светлой комнаты, а вокруг столпились незнакомые двуногие в халатах и чепчиках.

– Ну, кажется, отходит от снотворного, – радостно произнес румяный с бородкой.

– Симпатичный какой, – отозвалась высокая белозубая шатенка.

– Давайте наконец с него намордник снимем, – сердито сказал темнолицый, но совсем не похожий на индуса.

– Тогда его покормить сразу надо, а то еще огрызаться начнлт, – посоветовала изящная маленькая женщина с раскосыми глазами.

– Вот мы тебе, Линг, кормежку и доверим, – улыбнулся румяный, – глядишь, твой язык он тоже лучше понимает.

– Сомневаюсь, – ответила Линг, – он ведь дикий и, скорее всего, из Бутана, а не Китая.

– А может, из Тибета, – внес свое предположение темнолицый, снимая с Дорджи намордник.

Дорджи с наслаждением зевнул.

Сначала его напоили водой, а потом поставили перед ним небольшую миску со свежим мясом. Дорджи с интересом втянул в себя незнакомый запах.

– Попробуй, – подбодрила его Линг, – тебе должно понравиться.

Дорджи попробовал и посмотрел на Линг с благодарностью.

– Похоже, мы подружимся, – с удовлетворением произнесла Линг.

– Странно, что он вообще нас не боится, – протянул темнолицый. – Его случайно не приручили? Как ты думаешь, Энрике?

– Судя по биографии, отнюдь, – заметил румяный. – Скорее наоборот. Просто люди, с которыми он столкнулся, не сделали ему ничего плохого. И потому он и нам доверяет.

– Бедный, – вздохнула белозубая. – Каково ему будет теперь, после свободы?

– Что ты переживаешь, Саша? – рассмеялся темнолицый. – Привыкнет. Свобода, как известно, осознанная необходимость.

– Опять Маркса начитался? – фыркнула Саша. – Ну и как ты ее понимаешь?

– Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, – продекламировал темнолицый, – надо следовать его законам.

– Закон закону рознь. Следуя твоей логике, рабы в рабовладельческом обществе должны были осознавать необходимость быть рабами и потому были свободны. Но вся история опровергает этот постулат. За примером далеко ходить не надо. Вы же до сих пор, через полтора века после отмены рабовладения в Америке, не можете успокоиться. А о своей бывшей стране я вообще молчу.

– А как ты понимаешь свободу? – спросил темнолицый.

– Как свободу выбора. Знаешь, в старых русских сказках описывается такая ситуация: стоит витязь на перепутье трех дорог. И стрелки указывают, что его на какой дороге ждет. И он волен выбрать: то ли по гладкой дорожке идти, то ли по тернистой. Ну и награда соответствующая. Если сдюжишь. Так вот, в моей стране, которая по указке Маркса за всеобщим счастьем погналась, нас этой свободы и лишили. И рабский труд узаконили. В точном соответствии с его теорией.

– Ты что? – не поверил темнолицый. – В Манифесте как раз про освобождение от цепей написано.

– А ты кроме Манифеста что-нибудь читал?

– Нет, – признался темнолицый.

– Вот и почитай для начала, а потом поговорим, – отрезала Саша. – Получили свободу на халяву, потому и не цените. Вас бы в Союз годика этак на три, вплавь бы через Атлантику почесали. И акул бы не побоялись.

– Ну ты даешь, – изумился темнолицый. – Союза-то уже двадцать лет как нет.

– Тогда в Северную Корею поезжай. Там тебя живо голодным

собачкам скормят, если вякать начнешь.

– Не надо так мрачно шутить, Саша, – рассмеялся Бенджи.

– А я не шучу, – нахмурилась Саша. – Ты сегодня утром новости смотрел? Какую казнь наследный правитель родному дядюшке уготовил?

– Да оставь ты Бенджи в покое, – вступилась за темнолицего Линг. – Он ведь никогда не задавался вопросом: почему из коммунистического рая бежали, а туда никто не стремился.

– Не помешало бы задаться, – рассердилась Саша, – а то заглотал три страницы лозунгов и думает, что получил путеводитель ко всеобщему счастью. Лучше бы булгаковское «Собачье сердце» прочитал.

– «Собачье сердце» – прекрасная вещь, – встрял в разговор Энрике, – самое интересное, что она до сих пор не потеряла актуальности, хотя написана почти сто лет назад. У меня она есть, и в оригинале, и в английском переводе. Если хочешь, принесу.

– Спасибо, – растерялся Бенджи, – а откуда ты это знаешь?

– Я на Кубе родился, – спокойно ответил Энрике, – а в Москве учился. Кончайте базар, ребята, а то мы совсем забыли о нашем подопечном.

– А он, кажется, не скучает, – улыбнулась Линг.

Дорджи и впрямь не скучал. Доев мясо и услышав слово «свобода», он устроился на столе, насколько позволяли повязки, как можно удобнее, с интересом прислушиваясь к разговору двуногих. И когда по команде Энрике все разом повернулись к нему, он про себя посетовал, что они прервали его на самом интересном месте.

– Шанта ему наверняка обрадуется, – сказала Саша.

– Да уж, – подтвердил Бенджи, – сколько она одна кукует?

– Два месяца, – сказал Энрике, – послушайте, надо же нашему красавцу имя дать.

– Принц, – предложила Линг.

– В Америке титулы отменены, – пошутил Бенджи.

– Лис, – обрадовалась Саша, – он здорово на Лиса из «Маленького принца» смахивает.

– У меня есть идея, – осклабился Энрике, – у него же совершенно необычный цвет, как солнце на закате. Давайте назовем его Рави.

– Звучит неплохо, – согласилась Саша, – а что значит Рави?

– Солнце на хинди, – пояснил Энрике.

– А как в Бутане солнце называют, ты не знаешь? – поддразнил его Бенджи.

– Не знаю, – вздохнул Энрике.

– Возражения будут? – спросила Саша.

– С моей стороны не будет, – ответила Линг и подмигнула Дорджи.

– Ну вот, малыш, теперь ты уже не безымянный подкидыш, а полноправный член нашего зоокомьюнити, – подытожил Бенджи.

Дорджи хотел сказать, что у него уже есть имя, но у него не получилось, и тогда он решил, что третье имя ему не помешает, ведь и король, в честь которого его назвали, имел их не меньше. После чего он спокойно дал снять с себя повязки, зашел в предложенную ему походную клетку и через несколько минут оказался в глубоком, обсаженном бамбуком каньоне со скалистыми стенами, тремя ветвистыми деревьями, между которыми были перекинуты плетеные мостики, и текущим посередине ручьем. На одном из деревьев сидела прелестная особь в пушистой шубке цвета ржавчины.

– Шанта, – позвала ее Линг, – иди знакомиться. Это Рави.

Шанта лениво повела плечами, обернулась и неторопливо начала спускаться.

– Не воображай, – усмехнулась Линг, – а ты, – обратилась она к Дорджи, – не тушуйся.

Завершив напутствие, она открыла клетку, и Дорджи оказался лицом к лицу с Шантой. Линг еще какое-то время постояла рядом и, убедившись, что драки не предвидится, забрала клетку и ушла, заперев за собой калитку. Дорджи и Шанта остались сидеть напротив друг друга. Первой нарушила молчание Шанта.

– Ты откуда? – спросила она.

– Из Бутана, – скромно ответил Дорджи.

– А где это? – округлила глаза Шанта. – Я про такую страну не слышала.

– Между Индией и Китаем, – пояснил Дорджи, – а ты?

– Я из Калифорнии, из Сан-Диего.

– А это где? – в свою очередь спросил Дорджи.

– На западном берегу Соединенных Штатов.

– А разве там панды водятся? – удивился Дорджи.

– Только в зоопарках. Я в зоопарке родилась. А моя мама индийская.

– Я тоже в Индии побывал, – сказал Дорджи. – В Калькутте.

– А Индия далеко? – спросила Шанта.

– Не знаю, – признался Дорджи. – Наверное, далеко.

– Мне бы хотелось там побывать, – мечтательно произнесла Шанта. – Мама столько интересного рассказывала.

– А я бы хотел домой вернуться, – вздохнул Дорджи. – Там так красиво. И такой простор, не то что в этом загоне.

– Расслабься, – посоветовала Шанта, – не такой уж он и маленький. Зато тут спокойно. И сытно.

– Да уж, – согласился Дорджи, – накормили на славу. И что, так каждый день?

– А ты как думал? – усмехнулась Шанта. – Так тебя Рави зовут или еще как?

– Вообще-то Дорджи. Дорджи Вангчук. Рави меня здесь назвали.

– А как ты хочешь, чтобы тебя звала я?

Дорджи задумался. Он понимал, что отныне в зоопарке его будут звать Рави, но расставаться со своим, данным ему при рождении именем не собирался. И он обрадовался, когда Шанта, как будто угадав его мысли, сказала:

– Пускай они зовут тебя как хотят. А мне нравится Дорджи.

И Дорджи погладил ее лапу в знак согласия.

Дни побежали своим чередом. Дорджи понемногу осваивался со своей новой жизнью, но все-таки не мог свыкнуться с ней до конца. Дома он привык заботиться о себе сам и потому был ни от кого не зависим, а здесь о нем заботились другие, и это тяготило его. Хотя со стороны могло показаться, что все складывалось как нельзя лучше: жизненного пространства хватало, еду поставляли вовремя и в достаточном количестве, каньон регулярно убирали. Да и к Шанте он привязывался все больше и больше. Она была на удивление ровна, терпелива и понимала его как никто. И он в конце концов понял, что любит ее. Он не забыл Дагану, но любовь к Шанте была другой. Может быть, он повзрослел, а может, это было что-то еще, чего он не мог объяснить, но ему хотелось иметь от нее детей и воспитывать их самому. За Монгара он был спокоен. Тот уже вырос и теперь стал полноправным хозяином доставшемуся ему владения. В отце он больше не нуждался.

Дорджи любил разговаривать с Шантой. В чем-то она была намного осведомленнее его, но никогда не показывала своего превосходства. Одновременно она с удовольствием внимала его рассказам о том, чего не знала сама и не уставала задавать массу вопросов. Больше всего им нравилось сидеть на дереве и наблюдать за двуногими, которые приходили в зоопарк. В хорошую погоду они толпились у барьера, щелкая фотоаппаратами и громко обсуждая достоинства и недостатки малой панды. Достоинства превалировали. Вскоре Шанта и Дорджи стали отличать завсегдатаев. Их было немного, но они появлялись почти каждый день. Иногда они задерживались у барьера, иногда проходили или пробегали мимо. Шанте и Дорджи приглянулась одна пара: мало того, что они всегда улыбались, они всякий раз останавливались и заго-

варивали с ними и попутно веселили малышей шутками и прибаутками.

– Как ты думаешь, у них есть дети? – однажды спросил Дорджи.

– Думаю, что да, – отозвалсь Шанта, – но далеко.

– Почему?

– Они скучают и отыгрываются на других.

– Жалко, что мы не можем с ними поговорить, – раздумчиво произнес Дорджи, – они ведь нас не понимают.

– Напрасно ты так думаешь, – лукаво отозвалась Шанта. – Иначе они бы к тебе не обращались.

– Ладно, – согласился Дорджи, – в следующий раз попробую.

Следующего раза пришлось ждать добрую неделю, в течение которой шли проливные дожди, и в зоопарке, кроме волонтеров и полицейских, вообще никого не было. Наконец асфальт подсох, и в каньоне напротив выползли на солнышко речные выдры.

– Привет, – крикнул, обращаясь к Дорджи, вожак по имени Брук, – сегодня точно дирижер придет!

– Какой дирижер? – не понял Дорджи.

– А что, ты его никогда не видел? – удивился Брук. – Советую посмотреть. Получишь удовольствие. Не меньшее, чем мы.

Заинтригованный Дорджи позвал Шанту, и они заняли самый удобный наблюдательный пункт на верхнем суку ближайшего к выдрам дерева.

Через некоторое время в зоопарке появились первые посетители.

– Смотри, – сказала Шанта, – наша пара идет, и с ними малыш!

Дорджи сразу обратил на него внимание. Малыш весело подпрыгивал, вертел головой во все стороны, но при этом крепко держался за руки взрослых. Из-под синей кепки выбивались золотые кудри.

– Откуда он взялся? – удивился Дорджи. – Они раньше одни приходили.

– Наверное, в гости приехал, – предположила Шанта.

Пара с малышом остановилась у каньона с выдрами, которые тут же выстроились в ряд на каменном барьере.

– Дедушка, а они петь умеют? – спросил малыш.

– Петь вряд ли, а вот подпевать... – Дед отломил тростинку и стал дирижировать, напевая мелодию из популярного телешоу. Выдры охотно попискивали и плавно покачивались в такт напеву. Малыш засмеялся и захлопал в ладошки. Вместе с ним захлопали и остальные собравшиеся у каньона зрители.

Песня закончилась, дед поблагодарил выдр, и они, поклонив-

шись напоследок, разбежались. Веселая толпа обратила свои взоры на малых панд. А Шанта и Дорджи с новым интересом смотрели на деда, который рассказывал внуку и всем собравшимся историю их самих.

– Откуда он все это знает? – спросил Дорджи у Шанты.

– Судя по всему, прислушивался к нашим беседам, иначе и быть не может, – заключила Шанта, – а чего он вдруг заговорил о свободе?

Дорджи не ответил. Дед увлеченно говорил о том, что чувство свободы живет в каждом существе и не умирает никогда, даже в тюремной камере. А уж в клетках зоопарка тем более. За исключением тех, кто вообще не имеет о нем понятия.

– И я уверен, что этот симпатяга Рави только и мечтает о том, чтобы удрать. К сожалению, бежать ему некуда. В городе он жить не сможет.

– Почему? – удивился малыш. – Ведь мы живем.

Окружающие рассмеялись, а дед, наклонившись к внуку, сказал:

– Пойдем, я тебе по дороге объясню.

– Ты действительно мечтаешь о побеге? – недоверчиво осведомилась Шанта у Дорджи, глядя вслед удаляющейся паре с внуком.

– Не просто мечтаю, а планирую, – насупился Дорджи.

– Ну и куда ты пойдешь? – насмешливо спросила Шанта.

– Домой, куда же еще, – обиделся Дорджи.

– Ты хоть соображаешь, где твой бывший дом? Он же на другом конце света!

– Все равно убегу, – упрямо заявил Дорджи.

– Ну и дурак, – Шанта зевнула и растянулась на плетеном мостике, – и чего тебе не хватает?

– Не знаю, – вздохнул Дорджи, – наверное, той самой свободы.

Шанта не отозвалась. Она спала. Дорджи примостился рядом и тоже задремал. Он понимал, что обидел Шанту, сказав ей о побеге, но ничего поделать с собой не мог. Чувство, которое когда-то погнало его прочь от Даганы, овладело им и сейчас, и он знал, что уже ничто не сможет его остановить, пускай в конечном счете он потерпит очередное фиаско.

Скрипнула калитка, и в каньоне появились Линг и Саша с полными мисками мяса и свежесрезанными стеблями бамбука.

– Эй, лежебоки, – крикнула Саша, – кушать подано!

Шанта открыла глаза и, выгнув спину, стала медленно спускаться к месту кормежки. Дорджи остался лежать. Есть не хоте-

лось, на душе скребли кошки.

Рядом возникла Линг.

– Ты чего такой смурной? – поинтересовалась она. – Не заболел?

– Да дрыхнет он, – рассмеялась Саша. – Солнышко припекло, вот его и разморило.

– Тебе не кажется, что этот бамбук слишком низко нависает? – спросила Линг у Саши. – И здорово загустел.

– Ты права, надо бы его проредить, – констатировала Саша, – а нависает от влаги. Ведь всю неделю лило как из ведра.

– Надо Бенджи сказать, чтобы с топориком пришел. И все-таки, Саша, сдается мне, что наш красавец что-то замышляет.

– Не бери в голову, Линг. Пойдем, нам еще больших панд кормить.

Дорджи приоткрыл один глаз, увидел написанную на лице Линг тревогу и притворился спящим.

Калитка захлопнулась. Дорджи мысленно поблагодарил обеих женщин за подсказку. Теперь оставалось ждать сумерек и надеяться, что Бенджи с топором до завтра не появится.

– А подкрепиться не мешает, – сам себе сказал Дорджи и принялся уплетать бамбук.

Шанта, видимо, обиделась не на шутку, потому как, закончив трапезу, забралась в гнездо и носу более не казала. Дорджи был скорее рад этому, поскольку дальнейших объяснений попросту боялся. А так уже ничто не мешало ему обмозговать план побега в деталях.

Бамбук нависал над каменной стеной с двух сторон. Главная трудность заключалась в том, чтобы, уцепившись за него, не задеть натянутой по периметру стены проволоки, по которой бежал электрический ток. Про проволоку ему рассказала Шанта. С одной стороны стена была ниже, а бамбук выше, и Дорджи сообразил, что выбираться отсюда будет намного проще. И когда стемнело, он залез на дерево и прыгнул. Бамбук прогнулся. Дорджи закачался на нем, но удержался, и, перемахнув через стену, спустился на круто уходящую вниз дорожку, плотно обсаженную кустами и скупо освещаемую редкими фонариками. Недолго думая, он побежал по ней. Впереди, в прогале, вставала луна. Дорджи выскочил на поляну и остановился как вкопанный.

На поляне танцевало маленькое деревце. У него было две ноги, а его аккуратная воздушная крона напоминала балетную пачку. Ноги выделывали умопомрачительные пируэты и батманы, и Дорджи невольно залюбовался ими, вспомнив однажды подсмот-

ренный по телевизору балет на вилле у мистера Джонса. Деревце, судя по всему, заметило Дорджи, потому что докрутило фуэте и присело в реверансе.

– Ты как сюда попал? – строго спросило деревце. – Тут ночью только дикие олени гуляют.

– Сбежал, – с вызовом ответил Дорджи, – а ты?

– Я тут живу, – с достоинством сказало деревце, – вон за тем мостиком налево.

– А сюда танцевать ходишь? – догадался Дорджи.

– Ага, тут свободно, есть где развернуться.

– И что, ты каждую ночь танцуешь?

– Конечно. Только когда снег, пропускаю.

– А тут часто снег бывает? – поинтересовался Дорджи.

– Редко. Раза два за зиму, в лучшем случае.

– Жалко, я снег люблю.

– Я тоже, – призналось деревце. – Хотя на нем нельзя танцевать, но зато можно выспаться, как под одеялом.

– А разве без снега ты не высыпаешься?

– Куда там! – встряхнуло кроной деревце. – Днем посетители галдят, а вечером ноги сами в пляс пускаются. Только на рассвете и вздремнешь.

– Тебя что, заколдовали?

– Как тебе сказать? Скорее, расколдовали. Мне всегда танцевать хотелось. И я всем об этом рассказывало. Но я к земле было притачено. И однажды тут такая симпатичная пара прогуливалась, они возле меня остановились и вдруг один из них, кажется он, сказал: «гляди, это же танцующее деревце!» И тогда она засмеялась и добавила: «и ноги в третьей позиции; наверное, по ночам на площадку бегает!»

– Стало быть, они тебя услышали.

– Наверное. И вот вечером мои ноги оторвались от земли и понесли меня на эту площадку. А утром я вернулось на место. И с тех пор так и повелось.

– Мне кажется, я эту пару знаю, – сказал Дорджи. – Они сегодня с внуком приходили.

– Который в синей кепке? С золотыми кудряшками?

– Точно.

– Он со мной танцевать хотел, за ногу меня дергал. А потом с бабушкой кружился.

– Скажи мне, ты довольно? – спросил Дорджи. – Не жалеешь, что тебя расколдовали?

– Разве можно жалеть о подаренной тебе свободе? – изумилось деревце.

– А совсем убежать тебе не хочется?

– Нет. Если я не вернусь к своим корням, я зачахну и умру. От них нельзя отрываться насовсем.

Разговор Дорджи с деревцем прервали два оленя, которые стремительно выбежали на площадку и, завидев Дорджи, тут же шарахнулись в сторону.

– Не бойтесь, я вас не обижу, – сказал Дорджи, – вы тут на свободе бегаете, может быть, подскажете мне дорогу.

– А куда ты хочешь бежать? – спросил один из оленей.

– Подальше от зоопарка.

– Есть три варианта, – важно начал олень. – Первый – пойти в лес и жить там. Второй – пойти в нижний город. Третий – пойти в верхний город. Ты чем питаешься?

– Бамбуком. И еще мясом.

– Бамбук растет только в зоопарке. И немного можно найти в городе. В лесу его нет. А по части мяса я не специалист.

– А какая разница между верхним и нижним городом? – спросил Дорджи.

– Трудно сказать. Просто там живут разные люди. И дома разные. Мы туда не ходим.

– Почему?

– Да нас не особо жалуют. В верхнем городе легко в западню попасть, а в нижнем и пулю схлопотать можно.

– А как до леса добраться?

– Беги вниз. Как до речки добежишь, лес по обе стороны тянется. Хочешь направо, хочешь налево. А нижний город прямо, через мост.

– А где верхний? – на всякий случай спросил Дорджи.

– По эту сторону речки. За зоопарком.

Дорджи поблагодарил оленя, попрощался с деревцем и пустился в путь. Ему вспомнились слова из Сашиной сказки о трех дорогах. Увы, стрелок с начертанной на них судьбой он не обнаружил. И сначала решил пойти в нижний город.

«Как хорошо, что все спят, никто меня не заметит», – думал Дорджи, легко сбегая по широкой дорожке мимо пустых вольеров и закрытых павильонов, – «и все-таки интересно, почему дед сказал, что мне в городе не выжить?»

Вдруг в низине он услышал протяжный вой и невольно вздрогнул. За проволочной сеткой сидел белый волк. Морда его была обращена к взошедшей луне. Выл волк самозабвенно и вдохновенно, делая короткие паузы и как бы прислушиваясь к тому, соблюдает ли он выбранный им темп и тональность. Дорджи не удержал-

ся и подбежал поближе. Волк слегка повернул голову и, сделав очередную паузу, с любопытством спросил:

– Куда бежишь, рыжик?

– На свободу, – ответил Дорджи.

– Кабы не сетка, я бы с тобой побежал, – вздохнул волк, – надоело мне тут. А как ты выбрался?

– Бамбук помог. И еще дождь. А ты зачем воешь?

– Завоешь тут от тоски. И от одиночества. Мне так подруги не хватает. Особенно когда полная луна. Ты ведь, небось, тоже от одиночества сбежал.

– Да нет, от Шанты. Хотя я ее люблю.

– Так ты гульнуть решил? Впрочем, с кем не бывает.

– Ты меня не понял. Я домой хочу.

– Дом строят вместе с той, кого любишь. Ты же любишь Шанту? Значит, и надо строить дом здесь. Если бы у меня была любимая, я бы и выть перестал. На твоем месте я бы вернулся.

Волк облизался, снова повернул голову к луне и завыл. Дорджи на минуту задумался над его советом, но не последовал ему и снова побежал вниз. Завидев серебрящуюся в лунном свете речку, он было прибавил ходу, но вместо этого задержался у каменного парапета. Его внимание привлек темный обьект на пригорке, который при приближении Дорджи зашевелился. Дорджи с опаской подошел к парапету, но разглядев, что от парапета пригорок отделяет глубокий ров, осмелел и крикнул:

– Ты кто?

Объект неуклюже подобрался к краю рва и неожиданно тонким голосом сказал:

– Я очковый медведь. Вернее, медвежонок. Я маленький. Меня Укуку зовут.

– Очковый медведь? – усомнился Дорджи. – Я про очковую змею знаю, а про медведя нет.

– А я про очковую змею не слышал, – сказал медвежонок. – Она очень опасная?

– Очень, только ты не бойся, они здесь не водятся. А ты сам откуда?

– Я тутошний. А мои родители андейские.

– Почему ты не спишь?

– А ты почему не спишь? – вместо ответа спросил медвежонок. – И почему разгуливаешь? Ты что, дикий? Как олени?

– Мы все дикие, – пояснил Дорджи. – Просто олени свободные, а нас в клетки посадили.

– Зачем? – не понял медвежонок.

– Говорят, для сохранности вида. На воле нас, дескать, всякие опасности подстерегают, поэтому мы и исчезаем. Если так будет продолжаться, то двуногие скоро нас всех переловят, по зоопаркам расселят и будут гордиться, что сохранили нам жизнь и продолжение рода. Лучше бы сохранили нам нормальную среду обитания. А не отнимали то, что у нас есть.

– Значит, маму тоже отнять могут? – испугался медвежонок. – Я так не хочу.

– Не волнуйся, твою маму у тебя не отнимут, – заверил медвежонка Дорджи, – иди спать, поздно уже.

– Ты приходи еще, – попросил медвежонок. – С тобой интересно.

– Постараюсь, – сказал Дорджи, – но не обещаю.

Ему вдруг стало жалко расставаться с Укуку. Он был смешной и трогательный одновременно, и Дорджи подумал, что было бы здорово, если бы обитатели зоопарка могли между собой общаться, хотя бы изредка. Ведь сидя в своем каньоне, он был фактически обречен на общение с одной Шантой, не считая выдр и служителей зоопарка. Для двуногих посетителей он был ничем иным как объектом созерцания, не более. За исключением той самой пары, которая проявляла к зверушкам неподдельный интерес. Но луна уже стояла высоко, и Дорджи почуял, что перевалило за полночь. Надо было спешить. Он попрощался с медвежонком, перебежал через мост и попал в нижний город. Петляющая между невысоких, прилепившихся друг к другу темных домов улочка вывела его на перекресток, в центре которого расположилась бензозаправочная станция. Отсюда лучами расходились другие улицы с большими домами, ресторанами и магазинами, пестрящими яркой рекламой. Здесь было довольно многолюдно. Мимо проносились мотоциклисты и редкие машины.

Дорджи растерялся. С одной стороны, его снедало любопытство, с другой – обуял страх вторжения в это незнакомое сообщество. Переливающиеся огни слепили глаза, рев мотоциклов терзал уши, перебежать на другую сторону улицы – и то казалось невозможным без риска попасть под колеса автомобиля.

К нему приближалась компания двуногих весьма странного вида. Полуспущенные штаны едва держались на тощих бедрах. В голых пупках блестели серебряные кольца. Надетые задом наперед бейсболки покоились на длинных спутанных лохмах. Двуногие громко хохотали и приплясывали.

Внезапный пинок впечатал Дорджи в мусорный бачок, к несчастью оказавшийся у него за спиной.

– И развелось же здесь этих енотов, – с ненавистью сказал тот, кто пнул Дорджи.

– Да разве это енот? – недоверчиво осведомился другой, в зеленых кроссовках на босу ногу с волочащимися по асфальту шнурками, – мне кажется, это лиса. Еноты рыжими не бывают.

– Больно ты умный, – загоготал третий, с реденькой бородкой, – откуда здесь лисе взяться?

– Как откуда? Из лесу.

– Ладно, дурни, пошли дальше, кажись, я его здорово припечатал, – похвалился первый. – Может, добить, чтоб не мучился?

Дорджи, лежавший неподвижно в надежде, что его оставят в покое, при этих словах с быстротой молнии скользнул в темный проулок и забился под ближайший куст.

– А он, право, не промах, – засмеялся второй, – как он тебя провел, Начо!

– Каждая тварь жить хочет, – заключил третий и, хлопнув по плечу первого, потащил его прочь.

Дорджи понял, что опасность миновала и перевел дух. Плечо от пинка саднило, но боль была тупой и терпимой. Кости не пострадали. Но идти в город расхотелось. Эти двуногие были не такие, каких он видел в зоопарке, и ему стало грустно. За что его ударил тот, которого звали Начо? Принял его за кого-то другого? Или просто от нечего делать? И Дорджи решил идти в лес.

Он спустился вниз по той же самой улочке, пересек мост и побежал направо вдоль речки. Вскоре его нагнал знакомый олень.

– Ну как тебе нижний город? – спросил олень. – Похоже, тебе там не понравилось.

– Не очень, – признался Дорджи. – Чуть не прибили, ни за что, ни про что. И одеты не по-людски: штаны мостовую подметают, того и гляди спадут.

– Теперь понимаешь, почему мы туда не ходим?

– Да уж. А до настоящего леса далеко?

– Нет. Как этот забор зоопарка кончится, так и лес. Но ты в него не углубляйся. Иначе с голоду помрешь. Я тебя насчет бамбука предупредил.

Олень умчался в темноту, а Дорджи потихоньку дотрусил до конца забора и, с трудом забравшись на первое попавшееся дерево – плечо болело все сильнее – постарался устроиться поудобнее и заснуть. Надо было набраться сил на завтра.

Разбудили его голоса и стук мяча. Открыв глаза, Дорджи увидел перед собой большую поляну, на которой ребятишки играли в футбол. Поодаль над железной жаровней поднимался дымок и оболь-

стительно пахло мясом. Вокруг жаровни толпились взрослые двуногие с пластиковыми стаканчиками в руках.

Глядя на ребятишек, Дорджи вспомнил как играл в мяч с индийскими детьми, и ему захотелось немедленно спуститься с дерева и присоединиться к ним. Одновременно он почуял голод, но приближаться к двуногим после печального опыта в городе не рискнул. Возле забора он углядел молодую поросль бамбука и решил пробраться туда незамеченным и позавтракать. Это ему удалось, но как быть дальше? Оглядевшись, он увидел узкую тропинку, вьющуюся вдоль поляны и круто уходящую в поросшую лесом горку, и пошел по ней. Бежать не давало плечо. И тут навстречу ему выскочил внушительного размера пес. Дорджи инстинктивно застыл. Как ни странно, пес не залаял, а тоже остановился и посмотрел на него с любопытством. У пса были длинные висячие уши и золотистая шерсть.

– Дай мне пройти, – попросил Дорджи.

– А почему ты не убегаешь? – поинтересовался пес. – От меня почему-то все шарахаются, и олени, и белки.

– Я не могу, – пожаловался Дорджи. – Меня вчера двуногие побили.

– Меня мои бывшие хозяева тоже били, – свесил язык пес, – я от них сбежал, потом в приюте жил. А потом меня усыновили. Вон мой новый хозяин идет. Он хороший. Он тебя не тронет.

– Чиппи, – позвал хозяин, – ты куда делся?

– Я, пожалуй, пойду, – сказал Чиппи, – а тебе счастливо.

Дорджи глазами проводил Чиппи и его хозяина, которые свернули с тропинки и пошли напрямик к поляне, и побрел дальше. Тропинка вскоре вывела его к большому дому, за которым проглядывала улица со снующими по ней машинами. И он, увидев, что дальше идти некуда, развернулся и засеменил обратно.

Народу на поляне прибавилось. Теперь уже жаровни дымились в нескольких местах, три пары перекидывались летающими тарелками фрисби, а к играющим в мяч ребятишкам присоединился Чиппи. Ближайшая к Дорджи группа двуногих что-то оживленно обсуждала, и ему вдруг послышалось – «Рави».

Дорджи не успел задуматься над тем, почему они назвали его по имени, как к нему подкатился мяч и следом за мячом подбежал Чиппи.

– Как, ты еще здесь? – выдохнул Чиппи. – Я думал, ты в верхний город навострился.

– Да там нечего делать, – сказал Дорджи, – и машин много. Улицу – и ту не перейти.

– Почему? На светофоре можно. Когда зеленый свет зажигается.

– Правда? – удивился Дорджи. – Я не знал.

– Впрочем, хорошо, что ты вернулся. Здесь спрятаться легче. Особенно если тебя ищут.

– Ищут? Кто?

– Все. Полиция, рейнджеры, волонтеры. Ты ведь Рави?

– Вроде того. На самом деле я Дорджи.

– Ага, как и я Чиппи. Сначала я был Бад. Но мне Чиппи больше нравится.

– А мне Дорджи.

– Подожди, я им сейчас мяч отдам и вернусь, – сказал Чиппи. – Ты, наверное, голодный? Хочешь, я тебя мяса принесу?

– Хочу.

Чиппи уткнулся носом в мяч и покатил его навстречу ребятишкам. Потом он побежал к хозяину и завилял хвостом. Хозяин положил ему в пасть кусок мяса, который Чиппи тут же доставил Дорджи.

– Вот, – сказал он, положив мясо на траву, – ешь.

– Спасибо, – поблагодарил Дорджи и принялся за еду. Закончив трапезу, он утер лапкой мордочку и спросил Чиппи:

– Ты не знаешь места поспокойнее? Мне бы не хотелось никому на глаза попасться.

– А ты не хочешь в зоопарк вернуться? – спросил Чиппи. – В лесу тебе туго придется.

– Не пойму, – признался Дорджи, – в своем лесу я прекрасно себя чувствовал. А в этом почему-то не получается. Может быть потому, что он не такой просторный?

– Мне кажется, причина не в этом, – подумав, сказал Чиппи, – а в том, что тот лес был тебе родной и знакомый, а этот чужой, и все, кто здесь живет, тебе чужие. Ты, конечно, можешь со временем с ними познакомиться и даже подружиться, но себе подобной точно не найдешь, разве что Шанта последует твоему примеру.

– Она не последует. Родившиеся в зоопарке свободы не ищут. Они не знают, что это такое.

– Я думаю, ты не совсем прав. Чувство свободы живет в каждом из нас. Но зоопарк для родившихся в нем – их дом, так же, как для тебя был твой лес. Счастье не в размерах пространства, а в том, насколько тебе в этом пространстве комфортно. Знаешь, у моих первых хозяев был огромный дом с большим участком и бассейном, а мне там жилось как в тюрьме.

– А у этого? – перебил Дорджи.

– У этого маленькая квартира-студия в том доме, который ты

видел. И там я чувствую себя совершенно свободным. И счастливым.

Дорджи вспомнил спасшее его дерево, которое тоже чувствовало себя свободным и счастливым, несмотря на то, что простояло всю жизнь на одном месте.

– Знаешь, что меня больше всего напрягает? – продолжал Дорджи, – что за меня все решают. Такая беззаботная жизнь на всем готовом. С ума сойти можно.

– Тут я, пожалуй, с тобой согласился бы, не будь я другом человека. Без него мне не выжить. Но свободу самовыражения я все-таки имею. И ты постарайся обратить свое новое положение себе во благо.

– Как?

– Я тебе лучше интересную историю расскажу. Вчера по телевизору видел. Одна японская семья спасла пингвина, когда тот в рыболовных сетях запутался, и выходила. Но когда они собрались отпустить его на свободу, он предпочел остаться. И с тех пор так с ними и живет. Между прочим, сам в магазин за рыбой ходит. С рюкзачком. Я бы тоже ходил. Но меня в магазин не пускают.

– Похоже, что японцы нашего брата лучше понимают.

– Да уж, не чета большинству здешних. Ладно, если хочешь еще поскитаться, я тебя провожу, – предложил Чиппи. – Есть тут одна заброшенная дорога из нижнего города в верхний, по ней почти никто не ходит. Там спокойно. По крайней мере никто не помешает тебе обдумать свое будущее.

– А тебя твой хозяин не хватится? – на всякий случай спросил Дорджи.

– Будем надеяться, что пока он веселится с друзьями, я успею вернуться.

Чиппи довел Дорджи до развилки и показал куда идти. Дорога и впрямь выглядела заброшенной. Поперек лежали поваленные деревья, растрескавшийся асфальт устилали мертвые листья. Вдоль дороги шипел узкий ручей, с трудом просачиваясь сквозь нагромождение камней и веток. Здесь они расстались. Чиппи побежал к хозяину, а Дорджи стал неторопливо подниматься в гору. Чувствовал он себя неуютно. С наступлением сумерек дорога казалась еще мрачнее и враждебнее. Он опять вспомнил дерево, советовавшее ему не делать больше глупостей, и его охватила тоска по Шанте, по их гнезду, где им было так хорошо вдвоем, по выдрам, которые с радостью делили с ним ожидание своего «дирижера» и даже по той веселой паре, которая приходила в зоопарк почти каждый день. Ведь он, судя по всему, дарил им кусочек счастья – почему же он не мог быть счастлив сам? Или не хотел этого понять?

Спускалась ночь. Дорджи начал подумывать о ночлеге, как почуял, что он на дороге не один. Впереди замаячили неясные силуэты двуногих. Внезапно темноту прошили острые лучи фонарей, и кто-то громко крикнул: «вот он»!

Откуда у него взялись силы, он сообразить не успел. Но в мгновение ока он перепрыгнул через ручей, взобрался по крутому бугристому склону и нырнул в словно по заказу открывшуюся дверь гаража, которая тут же за ним захлопнулась и укрыла его от преследователей. Дорджи с трудом перевел дыхание. Гараж был большой и светлый, машины чинно стояли в отведенных им местах, обозначенных белыми полосами. Перед одной из них, у стены, стояла детская прогулочная коляска с чем-то клетчатым и мягким. Усталость давала себя знать. Дорджи забрался в коляску и тут же уснул.

Ему приснился золотоволосый малыш. Он стоял над коляской и, приложив палец к губам, заговорщицки улыбался.

– Фердинанд, – позвала малыша возникшая из-за машины бабушка, – давай сюда плед, положим его в багажник.

– Бабушка, – шепотом отозвался малыш, – там Рави спит.

– Не может быть, – ахнула бабушка, – Господи, как же он сюда попал?

Дорджи понял, что это не сон. Но открывать глаза не спешил.

– Надо в зоопарк сообщить, – сказала бабушка и без колебаний стала набирать номер на мобильнике.

– Вот почему Шанта была такая грустная вчера, – догадался малыш, – потому что осталась одна.

– А этот разбойник спит и не знает, в какое смятение всех своим бегством поверг, – рассмеялась бабушка, – ладно, слава Богу, что нашелся.

– Дедушка прав был, что он в городе жить не сможет. А я ему не поверил.

Через полчаса в гараже появились Энрике с клеткой, Линг и компания незнакомых двуногих в джинсах с фото- и кинокамерами.

– Нет, вы только поглядите на него, как он хорошо устроился, – загремел Энрике, – мы тут сутки на ушах стоим, а он и в ус не дует!

– Да не ори ты так, – осадила его Линг, – лучше клетку открой. Пока спит, мы его туда и водворим.

– Погодите, – суетились киношники, – дайте нам камеры настроить.

– Спасу от них нет, – скрипнула зубами Линг и повернулась к бабушке, – как вы его обнаружили?

– Да очень просто, – ответила бабушка, – пришли с внуком в гараж, стали на прогулку собираться, тут Фердинанд его и заметил.

– И что, Рави так и спал все время?

– Отнюдь. Это он сейчас притворяется. Мой внук имел с ним весьма продуктивную беседу.

– О чем?

– О том, кто есть кто и откуда. По крайней мере, мы теперь знаем, что беглеца зовут Дорджи Вангчук и что в Бутане у него остались подруга и теперь уже взрослый сын.

– Интересно, – протянула Линг, – мне это выяснить, как я ни старалась, не удалось.

– Ничего удивительного, – улыбнулась бабушка, – дети гораздо лучше понимают наших меньших братьев. С возрастом мы, к сожалению, эту способность утрачиваем. Сохранить ее удается немногим. Во всяком случае, теперь вы можете не волноваться: Дорджи больше не удерет.

– А вы в этом уверены?

– Абсолютно. По счастью, звери не умеют лгать. Иногда мне кажется, что их общество устроено куда лучше нашего.

Тут застрекотали камеры и засняли Дорджи сначала в коляске, потом в клетке и, наконец, в фургоне национального зоопарка. Разумеется, все причастные к событию тоже были увековечены масс медиа. Двери фургона закрылись. Дорджи расслышал последние, сказанные Фердинандом слова: «жалко, что дедушки с нами не было».

По дороге в зоопарк опасения, что его будут ругать, развеялись: Энрике лишь добродушно пожурил Дорджи, а Линг проявила неподдельное сочувствие. И он думал об одном: как оправдаться перед Шантой. Но она встретила его на удивление дружелюбно.

– Ну и задал ты всем им жару, – лукаво усмехнулась она, – такой переполох поднялся, в жизни подобного не видала!

– Я, честно говоря, этого не предполагал, – смутился Дорджи.

– А если бы предполагал, не сбежал бы? – поинтересовалась Шанта.

– Не уверен. Похоже, мне надо было сбежать, чтобы понять, где мое счастье.

– И где же оно? – уже серьезно спросила Шанта.

– Здесь. С тобой, – так же серьезно ответил Дорджи и лизнул ее щеку.

– Тогда я тебе открою один секрет.

– Какой?

– У нас будет маленький.

– Правда? – обрадовался Дорджи. – Когда?

– Скоро.

– Почему же ты мне раньше не сказала? – с укоризной спросил Дорджи.

– Я собиралась. Но когда ты мне про побег признался, раздумала. Не хотела тебя этим удерживать.

– А теперь ты от меня не отделаешься, – весело заключил Дорджи. – Послушай, а где бамбук? Я только сейчас заметил, что стены голые.

– Да Бенджи, когда тебя утром хватился, все и срубил подчистую, на всякий случай. Чтобы я за тобой не увязалась.

– А ты бы...?

– Не болтай глупостей. Лучше расскажи мне, что ты видел.

– Ну слушай, – Дорджи обнял Шанту, и они так и просидели обнявшись, пока Саша не принесла им ужин.

– Привет сладкой парочке, – сказала она, – а тобой, Шанта, я просто восхищаюсь. Вместо того, чтобы прибить беглеца, ты его голубишь. Цени, Рави, где ты еще такую найдешь?

– Нигде, – не задумываясь ответил Дорджи.

– То-то, – отозвалась Саша, и Дорджи понял, что она его услышала.

Уходя, Саша рассыпала рядом с их мисками пригоршню зерен и хлебных крошек.

– Это для гостей, – подмигнула она.

Гости не заставили себя ждать. Не успела Саша захлопнуть за собой калитку, на угощение слетел красный кардинал.

– С возвращением, – поприветствовал он Дорджи, – мы тут все за тебя испереживались.

– Кто это мы? – удивился Дорджи.

– Твоя подруга, я, белый волк, танцующее деревце и Укуку. Да, и еще олени.

– Не может быть!

– Почему не может? Они все знали, что ты дал деру и послали меня на поиски. И я тебя нашел, а потом потерял.

– Как это?

– Когда ты от фонарей смылся. Они меня ослепили, и пришлось отсиживаться. Я рад, что ты дома. И спасибо за угощение. Теперь можно добрую весть до всех донести. Олени наверняка прибегут засвидетельствовать тебе свое почтение.

– А ты еще прилетишь? – осведомился Дорджи. – Я бы хотел быть в курсе последних новостей.

– Разумеется, – сказал кардинал. – Ты теперь знаменитость. И мне доставит удовольствие выполнять функции связного.

– Подожди, – остановил его Дорджи, – ты можешь найти Чиппи?

– Если ты мне скажешь, кто это и где его искать. Я постараюсь.

– Это золотистый ретривер. Он со своим хозяином на поляне за зоопарком гуляет. Если найдешь его, скажи, что я вернулся домой.

Ночью Дорджи не спалось. Тихонько, боясь разбудить Шанту, он выскользнул из гнезда и присел у заборчика между каньоном и дорожкой, где обычно толпились посетители зоопарка. Чего он ждал, он и сам не знал, но скоро в проеме появился олень.

– Ну что, набегался? – лукаво прищурясь, спросил он.

– Пожалуй, – осклабился Дорджи. – Но не жалею. Кой-какого житейского опыта поднабрался. По крайней мере, есть с чем сравнивать.

– Шанта не ругалась?

– Нет. Знаешь, у нас скоро маленький появится.

– Это здорово. У меня с Венди тоже.

– Ты деревце не видел? – вдруг спросил Дорджи.

– Видел. Танцует. Тебе привет передавало.

– Как ты думаешь, оно досюда дотанцевать может?

– Я узнаю. Ты не скучай. Мы будем тебя навещать.

Олень было собрался попрощаться, но в это время раздался протяжный вой, и он невольно вздрогнул.

– Это волк, – пояснил Дорджи. – Сегодня полнолуние. Жаль, что у него нет подруги.

– Уже есть, – сообщил олень. – Только он об этом пока не знает. Ее сегодня привезли из Канады.

– Ух ты! – обрадовался Дорджи. – Вот так сюрприз!

– Ладно, я побежал, – заторопился олень. – До скорого!

На душе у Дорджи потеплело. Он вернулся в гнездо, прижался к Шанте и провалился в сон.

На следующий день у каньона не было отбоя от посетителей. Дорджи хотелось пообщаться с выдрами, но за толпой, сгрудившейся у заборчика, он их не увидел и отложил разговор на потом.

– Смотри, наш Фердинанд пришел, – повернулся он к Шанте, завидев в толпе золотоволосого малыша.

– Дорджи! – крикнул малыш, – ты в порядке?

– Откуда он знает, что ты на самом деле Дорджи? – удивилась Шанта.

– Я ему об этом сказал.

– Тогда понятно.

– Тебя фотографы не замучили? – продолжал малыш, – мы от

них насилу с дедушкой отвязались.

– Меня со вчерашнего дня не трогают, – ответил Дорджи, – а где твоя бабушка?

– Бабушка их на себя взяла, а мы тем временем убежали.

– Ты завтра придешь? – спросил Дорджи.

– Обязательно, – заверил его малыш. – Мы сейчас дальше гулять будем. Ты хочешь кому-нибудь привет передать?

– Белому волку. И еще андейскому медвежонку Укуку. Ладно?

– Не волнуйся, Дорджи, – пробасил дед, – непременно.

Вечером Дорджи с Шантой сидели на плетеном мостике и смотрели, как на небе зажигаются звезды.

– Обидно, – с сожалением сказала Шанта, – что мы не можем навестить твоих друзей. Мне бы хотелось с ними познакомиться.

– За чем дело стало? – в глазах Дорджи заблестели озорные искры, – пусть только бамбук подрастет!

***Марина Тюрина-Оберландер**, филолог, поэт и переводчик. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвоведа. С 2000 года живет в Вашингтоне.*

Переводы печатались, начиная с 1976 года, в "Литературной газете", журналах "Иностранная литература", "Весь свет", "Крокодил", альманахе "Поэзия" (изд-во "Молодая гвардия"), антологиях "Современная датская поэзия", "Современная норвежская поэзия" (изд-во "Радуга"). Оригинальная поэзия печатается с 2008 года. Книга "На остром рубеже пространства" ("Водолей Publishers", 2008 г.), публикации в журнале "Большой Вашингтон" (2009-2010 гг.).

Недавно у Марины Тюриной-Оберландер в московском издательстве "Водолей" вышла новая книга поэзии и прозы, "Музыка слов".

АЛЬМАНАХ НЕ ДЛЯ ГРАФОМАНОВ

В Чикаго и Москве начнет выходить новый литературно-художественный альманах «Слова, слова, слова». На вопросы нашего корреспондента отвечает издатель и главный редактор альманаха Вадим Молодый.

- Какова концепция альманаха?

- Она проста. Никакой политики, никакой рекламы и, главное, никаких платных графоманских публикаций. Я глубоко убежден, что настоящее искусство элитарно, и в выборе авторов и произведений буду основываться именно на этом. Кстати, выходить альманах будет в одном из самых элитарных московских издательств - «Водолей», а раздел переводов будет базироваться на работах моих коллег со столь же элитарного, закрытого для графоманов сайта «Век перевода».

- На какую аудиторию рассчитан журнал?

- На хорошо подготовленную. Большевики считали: искусство принадлежит народу. Народу принадлежит не искусство, народу принадлежат Михалков и Донцова, Церетели и телесериалы. Помните, у Ходасевича:

Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.

Понять то, что мы собираемся печатать в альманахе, разумеется, можно, но для этого требуется достаточно серьезная подготовка.

Наряду с современными авторами в альманахе будут представ-

лены Серебряный век и ранняя эмиграция.

Выходить альманах будет четыре раза в год, причем в продажу поступят как отдельные номера, так и годовые подписки.

- Вы заговорили о разделе переводов. А какие еще разделы войдут в журнал?

- Поэзия, проза, драматургия, критика, эссеистика, детская поэзия, философия.

Я осознанно не упомянул еще один раздел, потому что хочу рассказать о нем несколько подробнее. Это – «Поэтическая ойкумена», раздел, посвященный литературе российской провинции. В первом номере это будет Кострома, поэтов которой я уже представлял на страницах «Антологии мировой поэзии», во втором – Вологда, ну а дальше будет видно. Русская культура, что бы ни говорили по этому поводу столичные снобы, существует и за пределами Москвы и Петербурга, и в провинции есть талантливые поэты и прозаики, о которых практически никто не знает. Вот я и хочу дать этим авторам возможность найти своего читателя, а читателей познакомить с авторами, интересными не связями с власть имущими и участием в никчемных союзах,сборищах и конкурсах, а своим даром.

-Альманах будет выходить в Чикаго и Москве. А как это будет осуществляться технически и как можно будет его приобрести на территории США?

- Верстку, подготовку к изданию и оформление взяло на себя московское издательство «Водолей», которое будет печатать альманах в одной из московских типографий и распространять тираж по книжным магазинам и подписчикам. Для западного читателя мы будем печататьи продавать альманах в интернет-магазине «Амазон». Разумеется, одновременно с выходом бумажного журнала номер будет полностью выставляться в интернете, скорее всего – с дополнительными материалами и, безусловно, с цветными иллюстрациями.

Позвольте, в качестве приложения к этому интервью, предложить журналу “Время и место” несколько стихотворений авторов первого номера.

РАФАЭЛЬ ЛЕВЧИН (1946-2013), США

Поэт, писатель, художник, скульптор, культуролог, мыслитель, человек исключительного мужества, скромности и благородства, Рафаэль Левчин не просто достойно прожил свою жизнь – он внес в русскую культуру вклад, значение которого переоценить невозможно. Сведений о нем и на бумаге, и в Сети достаточно, так что всех, кого интересует его биография, образование, участие в творческих группах, его книги, картины, скульптуры, публикации в журналах и антологиях, мы отсылаем к печатным изданиям и интернету.

Из книги СЛОЖНАЯ БИОГРАФИЯ КАТУЛЛА

Гай Валерий, не ходи на званый вечер.
Лучше дома поработай над поэмой.
Эти встречи, эти речи, эти плечи...
Эти тени под глазами...
Эта тема...

Я любил её не так, как все, иначе.
Я люблю её, мою любовь не выжечь.
Я люблю её и о прошедшем плачу.
Я любил её и потому не выжил.

Гай Валерий, знаешь сам, ты очень болен.
Ты, как рыба без воды, без этой рыжей.
И куда ты, Гай, туда и боль с тобою...
Я люблю её, других в упор не вижу.

Я растратил свой талант на пыль и плесень.
Мы, поэты, препаскуднейшие люди.
(Ты – прохлада, ты – источник среди леса...)
Прокажённые, и нас никто не любит.

Я люблю её.
Люблю и ненавижу.

СЕРГЕЙ ПОТЕХИН, Россия

Живет на хуторе неподалеку от села Костома Галичского района Костромской области.

Стихи Сергея Потехина публиковались и в центральных газетах и журналах: «Литературная Россия», «Юность», «Огонёк», «Сибирские огни» – и в др. изданиях. У него вышло несколько сборники стихов. На стихи С. Потехина написаны песни. Член СП России.

Аминь, Любовь моя, аминь.
Аминь, голубка золотая.
Аминь, плакучая полынь
И снег с печатью горностая.

Остановилась карусель,
Но есть вращения иные.
Щедра разлучница-метель
На откровения ночные.

По звёздам сверены часы,
И холодок застыл в гортани.
Рычат взлохмаченные псы
Перед последними вратами.

Аминь, Любовь моя, аминь.
Тепло развеяно по свету.
Течёт заоблачная синь
По ледяному амулету.

Размыты скорбные тона
Нерукотворной Божьей гжели.
Кто доказал, что жизнь одна?
Ах, неужели, неужели?

Когда морозные огни
Скуют нас цепью превращений,
Спаси себя и сохрани,
Мой неподкупный, чистый гений.

Аминь, Любовь моя, аминь.
Ты – вечный страж моей пустыни.
Зачем щемящая латынь
Непонимающим латыни?

Людьми построенный причал,
А недостроенный – тем паче,
Каких бы благ ни обещал,
Своей не выполнит задачи.

Полынный стебель разломлю,
Пущу по ветру пыль и крохи.
Щадящей боли не молю,
Приемлю боль твоей эпохи.

ЕЛЕНА ТВЕРСКАЯ, США

Родилась и выросла в Москве, на Арбате. Получила математическое образование, работала инженером-программистом, в 1990 году переехала в США. В отличие от многих бывших соотечественников, в Америке не стала, а перестала заниматься программированием. Работает переводчиком в Jewish Family and Children's services.

Стихи пишет с детства, издала две поэтических книги – «Еврейская елка» (совместно с Ириной Гольцовой) и «Расширение пространства». Печатается в журналах «Крещатик», «Новый берег», «Интерпоэзия», постоянно публикуется в интернетном издании «Вечерний Гондольер». В настоящее время готовит к печати третью книгу стихов и сборник стихотворений для детей «Птица пеликан».

Великолепные переводы Елены Тверской из Уистена Хью Одена вошли в антологии «Век перевода» и «Семь веков английской поэзии» под редакцией Евгения Витковского.

БАБУШКА МАРУСЯ ИГРАЕТ НА ПИАНИНО

Играет бабушка Маруся
на пианино. Эту грусть
словами при малейшем вкусе
пересказать я не берусь.
С самоучителем надежным

играет бабушка в тиши,
в переложении несложном
для фортепьяно и души,
из опер, что звучат в эфире,
о том, как в жизни неспроста
сбылась – есть справедливость в мире –
ее заветная мечта:
не сразу, к пенсии, скопила
и эту «Родину» купила.
А что не рад ее сосед,
так на соседа правды нет.
Она играет про подвалы,
где стенки мокрые насквозь,
где дочку как ни укрывала,
укрыть от бед не удалось.
Еще – про гомельского деда,
что в 19-м решил:
«Возьму, в Америку уеду!»
И съездил, янки посмешил,
но не нашел себя в Чикаго
и умер в Гомеле, трудяга.
(о чем нельзя болтать друзьям,
хоть он назад вернулся сам).
Еще о том она играет,
о чем пока сама не знает:
по нотному читает стану,
как муж, скривя в улыбке рот:
«я без Маруси жить не стану», –
сказал и умер через год.
О том, что гибнет Виолетта,
что любим мы ее за это –
за краткость радости взаем.
И музыкой наполнен дом.
И музыка спешит пролиться
на лестницу; и в пол сосед
опять стучит, и это длится,
не прерываясь, много лет.
И бабушка не виновата,
что слезы льются по щекам,
покуда вальс из «Травиаты»
звучит, разучен по рукам.

ВЕРОНИКА АФАНАСЬЕВА, Россия

Выдающийся ученый, один из крупнейших шумерологов мира, переводчик с шумерского и аккадского языков, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии, лауреат премии «Серебряный век», ведущий научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа, но в первую очередь – поэт.

Автор нескольких книг.

В 2013 году, ко дню рождения Вероники Константиновны, издательство «Водолей» выпустило шестисотстраничный том ее стихов («Пятиминутный мир: Дневники в стихах». – М.: Водолей, 2013. – 576 стр.

НОЧНЫЕ КОШМАРЫ

...И вдруг мгновенный,
Как зверь, в меня вцепился страх.
Н. Гумилёв

И входит... страх. На мягких лапах
Крадётся он в гнетущей мгле.
Как зверь, почуя крови запах,
Минуты ждёт, припав к земле.

Он ждёт. И ты в оцепененье,
И ужас рвётся на дыбы.
Мучительно ползут мгновенья...
Но ты не сдашься без борьбы!

Но мысль, отточенная остро,
Прорежет молниями тьму,
Мелькнёт змеёй, живой и пёстрой,
Вопьется в голову ему...

И лишь очнувшись в час рассвета,
Когда синеет неба твердь,
Ты вспомнишь и поймешь, что это
К тебе подкрадывалась смерть.

ДАНИЭЛЬ КЛУГЕР, Израиль

Прозаик, эссеист, поэт и исполнитель собственных баллад. Родился в Симферополе. В 1986 году стал лауреатом конкурса, посвященного 125-летию журнала «Вокруг света», за лучший фантастический рассказ. Работает в жанрах фантастики и детектива, занимается исследованием истории детективной классики. Многие статьи Клугера, посвященные изучению эстетики фантастической и детективной литературы, публиковались на английском языке в известных во всем мире журналах Science Fiction Studies *(США-Канада)* и Locus *(США).*

Поэтические произведения Даниэля Клугера выходили отдельными изданиями, публиковались в израильской, российской и американской периодике, а его переводы баллад Франсуа Вийона вошли в престижную антологию «Век перевода» *(Водолей Publishers, Москва 2005 -2006).*

ПАССАЖИРСКАЯ

Убегают, убегают то ли рельсы, то ли строки.
Убегают в бесконечность и прощаются со мной.
А в вагоне пассажирском все немного одиноки,
И проходят километры – или годы – стороной.

И недавняя разлука вспоминается неостро.
От вчерашнего прощанья больше сердце не болит.
В коридоре юный Вертер спорит с графом Калиостро
И зачем-то Дон-Жуану Дориан благоволит.

Поезд движется по кругу, я лежу на верхней полке.
Слышу чьи-то разговоры – наяву или во сне.
Поезд движется по кругу или даже по восьмерке,
И Офелия читает расписанье на стене.

Все отложено как будто на последнюю минуту.
Ветер западный метнется, заглушая чей-то стон,
А нагая проводница наливает нам цикуту,
И билеты проверяет несговорчивый Харон.

Обещания пустые и невнятные упреки…
Возвращается надежда неоконченной игрой.
Убегают в бесконечность ненаписанные строки,
Остается на перроне непридуманный герой.

АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ (1889-1945), Китай

Настоящее имя – Арсений Иванович Митропольский. Непримиримый и последовательный враг большевистского режима, участник московского восстания юнкеров, офицер войска Верховного Главнокомандующего Российской армии адмирала Колчака.

В 1924 году Несмелов сумел бежать из СССР в Харбин, где заслужил славу «лучшего русского поэта Китая». Его считали большим поэтом Пастернак и Цветаева.

Арестованный и вывезенный в СССР, он просто ушел из этого мира, умерев в пересыльной тюрьме. Ему было пятьдесят шесть с половиной лет.

БАЛЛАДА О ДАУРСКОМ БАРОНЕ

К оврагу,
где травы рыжели от крови,
где смерть опрокинула трупы на склон,
папаху надвинув на самые брови,
на черном коне подъезжает барон.

Он спустится шагом к изрубленным трупам,
и смотрит им в лица,
склоняясь с седла, –
и прядает конь, оседающий крупом,
и в пене испуга его удила.

И яростью,
бредом ее истомяся,
кавказский клинок,
– он уже обнажен, –
в гниющее
красноармейское мясо, –
повиснув к земле,
погружает барон.

Скакун обезумел,
не слушает шпор он,
выносит на гребень,
весь в лунном огне, –
испуганный шумом,
проснувшийся ворон
закаркает хрипло на черной сосне.

И каркает ворон,
и слушает всадник,
и льдисто светлеет худое лицо.
Чем возгласы птицы звучат безотрадней,
тем,
сжавшее сердце,
слабеет кольцо.

Глаза засветились.
В тревожном их блеске –
две крошечных искры.
два тонких луча...
Но нынче,
вернувшись из страшной поездки,
барон приказал:
Позовите врача!

И лекарю,
мутной тоскою оборон,
(шаги и бряцание шпор в тишине),
отрывисто бросил:
Хворает мой ворон:
увидев меня,
не закаркал он мне!

Ты будешь лечить его,
если ж последней
отрады лишусь – посчитаюсь с тобой!..
Врач вышел безмолвно,
и тут же в передней,
руками развел и покончил с собой.

А в полдень,
в кровавом Особом Отделе,
барону,
– в сторонку дохнув перегар –
сказали:
Вот эти... Они засиделись:
Она – партизанка, а он – комиссар.

И медленно,
в шепот тревожных известий, м
они напряженными стали опять, –
им брошено:
на ночь сведите их вместе,
а ночью – под вороном – расстрелять!

И утром начштаба барону прохаркал
о ночи и смерти казненных двоих...
А ворон их видел?
А ворон закаркал? –
барон перебил...
И полковник затих.

Случилось несчастье! –
он выдавил
(дабы
удар отклонить –

сокрушительный вздох), –
с испугу ли, –
все-таки крикнула баба, –
иль гнили объевшись, но...
ворон издох!

Каналья!
Ты сдохнешь, а ворон мой – умер!
Он,
каркая,
славил удел палача!...
От гнева и ужаса обезумев,
хватаясь за шашку,
барон закричал:

Он был моим другом.
В кровавой неволе
другого найти я уже не смогу! –
и, весь содрогаясь от гнева и боли,
он отдал приказ отступать на Ургу.

Стенали степные поджарые волки,
шептались пески,
умирал небосклон...
Как идол, сидел на косматой монголке,
монголом одет,
сумасшедший барон.

И шорохам ночи бессонной внимая,
он призраку гибели выплюнул:
Прочь!
И каркала вороном –
глухонемая,

упавшая сзади,
даурская ночь.

_____

Я слышал:
В монгольских унылых улусах,
ребенка качая при дымном огне,
раскосая женщина в кольцах и бусах
поет о бароне на черном коне...

И будто бы в дни,
когда в яростной злобе
шевелится буря в горячем песке, –
огромный,
он мчит над пустынею Гоби,
и ворон сидит у него на плече.

_____

Стихотворение посвящено барону Роману Фёдоровичу фон Унгерн-Штернбергу.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН (1913-1992), Бразилия

20 июля 2013 года исполнилось сто лет со дня рождения замечательного русского поэта Валерия Перелешина.

Настоящее имя – Валерий Францевич Салатко-Петрище. Родился в Иркутске, в семилетнем возрасте был вывезен матерью в Харбин, в пятидесятых годах переехал в Бразилию, где прожил до конца жизни.

Перелешин был одним из крупнейших поэтов первой волны русской эмиграции. В литературоведении считается «лучшим русским поэтом Южного полушария». Наряду с собственными стихами занимался поэтическими переводами, в том числе перевел древнекитайский трактат «Дао Дэ Цзин», одну из важнейших книг в духовной истории человечества.

ТОЧКА

Где сходятся свеченье благодати,
Нездешний блеск полуденных высот –
И мутная испарина болот,
И поздняя расчетливость некстати,

Где сплетены сверхчувственные рати,
Создателя незыблемый оплот –
И полумрак, и юношеский пот,
И духота испаханной кровати, –

Там горд зенит, но так же прост надир,
Там Божий мір и мой противомір
Уравнены в одной двузначной точке,

Устойчивой до первого толчка.
И я молюсь плаксиво об отсрочке
Беспомощной молитвой старика.

СЕМЕН КАМИНСКИЙ

МАМА ПАСЮКА

Большая перемена уже подходила к концу, когда по команде Конькова несколько пацанов отшвырнули недокуренные сигареты, неожиданно схватили Пасюка и, повалив на заплёванную деревянную скамейку, врытую возле оранжереи, стали сдирать с него штаны. Пасюк пискляво орал и дико вырывался. Всю эту сцену со смешками наблюдали стоящие неподалеку девчонки. От школы скамейка была не видна из-за высоких кустов, так что помощи ждать было совершенно неоткуда. Штаны сняли не совсем, только стащили на ботинки, предъявив миру белые, худосочные пасюковские ноги и расхлябанные «труханы» в мелкий жёлто-фиолетовый цветочек – и тут оглушительно заверещал звонок. Девчонки ушли, и так как продолжать процесс без зрителей уже не было смысла, Пасюка отпустили. В класс он вернулся самым последним, всё ещё красным и потным, и, ни на кого не глядя, проскочил на своё место. Марк Давидович стоял к классу спиной и вообще ничего не заметил, продолжая скрести по стеклянной доске.

Мама Пасюка, внушительного телосложения, объемистая, активная, разговорчивая, была председателем родительского комитета. Она нередко появлялась в школе, с неизменным рвением совершая разные, полезные, по её мнению, дела. Так что если бы кто-то хоть намекнул ей на издевательства, регулярно совершаемые над её сыном, крику было бы немало. Но молчали все. И девчонки, и сам Пасюк.

Впрочем, даже если бы мама Пасюка и издала крик, Конькова всё равно трудно было бы наказать. Коньков неплохо учился и никогда сам ничего дурного не совершал – только подавал идеи и отдавал распоряжения. Был он улыбчивый во весь красивый тонкогубый рот, лёгкий, слушаться его было приятно. Жил с матерью и старшим братом, недавно окончившим вуз. Мать работала медсе-

строй, молодо и модно выглядела и, по словам Конькова, «пользовалась повышенным потребительским спросом». Её часто не было дома, а брат устраивал занятные вечеринки с ласковыми подружками, и даже Конькову-младшему иногда перепадали их ласки, по крайней мере, он хвастался этим на скамейке возле оранжереи с такими подробностями, что мальчишки напряжённо хихикали и встать со скамейки сразу не могли.

Над Пасюком продолжали прикалываться всячески: однажды после физкультуры, в самый неподходящий момент, затолкнули в женскую раздевалку, стащили у кого-то из девчонок перламутровый лак для ногтей и залили Пасюку прямо в портфель, а теперь вот и штаны сняли на виду у всех. При этом сочувствия Пасюк ни у кого не вызывал, ну абсолютно ни у кого. И хотя по утрам он вроде всегда приходил чистый-наглаженный, только брюки и пиджак коротковаты, в середине дня он уже выглядел помятым, белёсые волосики на голове – торчком, кругленькая сосредоточенная физиономия – в лиловых пятнах, и дух от него – якобы – шел нехороший, с ним даже сидеть за одной партой никто не хотел. Любимой шуткой Конькова было громко и неожиданно заявить проникновенным басом прямо посередине урока (особенно эффектно это получалось на уроке молодой исторички): «Ирина Валентиновна, откройте, пожалуйста, окно, а то Пасюк тут так подпустил, что дышать – фу-у! – совершенно невозможно!» И Пасюк лиловел ещё сильнее, и класс гоготал, и Ирина Валентиновна, смущённо прервав объяснение на полуслове, начинала дёргать заедавшую оконную створку.

* * *

…Когда за очередной пациенткой закрылась дверь, медсестра Альбина Конькова что-то сказала врачу.

– Что вы сказали, Альбиночка? – переспросил гинеколог женской консультации Половинкин, снимая очки и отрываясь от писанины в медицинской карточке. – Ваш сын учится в одном классе вместе с сыном этой женщины?.. Этого, знаете, не может быть... ну, в смысле, её сына. Она же у нас нерожавшая... И не могла она рожать: проблем у неё там – полна, как говорится... гм... коробочка. Сын-то, выходит, приёмный. Приёмный, Альбиночка. И никто, получается, об этом не догадывался? Вполне вероятно... Бывает, дорогая, бывает, вы же знаете: одни избавляются, как от лишнего, а другие хотят, да Бог не даёт... мы-то с вами много чего этакого

знаем... И, безусловно, распространяться об этом никому не стоит – ни в коем случае!.. Пригласите следующую больную, пожалуйста.

* * *

Ах, Ирина Валентиновна, – печально произнёс Коньков на вопрос учительницы, почему он сидит, положив понурую голову на сложенные руки, а не записывает новый материал, – вы, наверно, не знаете... А я так переживаю. Наш Пасюк, он же, бедняга, не родной сын своих родителей...

– Как – не родной? – обомлела Ирина Валентиновна, повернувшись к Пасюку. – Мы же его маму знаем...

– Да, – продолжал Коньков, ещё более проникновенно, – маму Пасюка мы знаем... только она ему не мама, вернее, не родная мама. Он – приёмный сын, сирота, – голос у Конькова прямо пресёкся от жалости к товарищу, – и он этого даже сам не знал. Они от него, представляете, это скрывали. Всю жизнь. Всю жизнь! А мы-то думали, почему он так на своих родителей не похож? И вот, оказывается, что-о!..

– Ну что ты такое говоришь? – пыталась возразить Ирина Валентиновна, растерянно переводя взгляд то на Конькова, то на класс, то на Пасюка. – Откуда это такое стало известно?

– А вот, к сожалению, как-то стало, – совсем горестно вздохнул Коньков, – хотя, конечно, я бы не стал травмировать несчастного приёмыша лишними вопросами. Правда, Пасюк? – и он тоже повернулся к Пасюку. – Это же такая беда...

И все смотрели на Пасюка. А тот, даже не лиловый, как обычно, а уже почти синий, вдруг заулыбался – слабо, кривенько, непонятно чему – вроде разглядел что-то на доске или на портретах известных людей над ней.

Ирина Валентиновна подошла к Пасюку и сначала приподняла руку, как бы решив его погладить, но потом только тихонько сказала:

– Может быть, тебе надо выйти, Пасюк? Ты выйди, выйди, можно...

* * *

Никто из родных Лильки и не думал, что она вообще когда-нибудь выйдет замуж. Не то чтобы она уж очень была некрасива в девицах, но как-то всего было у неё чересчур много: и немалый рост, и внушительная грудь, и плотные покатые плечи, и пышные чёрные волосы, и широкое плосковатое лицо. «Большая девочка», –

вздыхал её миниатюрный папа-сапожник, когда она тяжеловато топала мимо его будки, возвращаясь из школы с неизменной круглой булочкой в руке. Предполагалось, что учиться Лилька будет в ПТУ, на оператора станков с числовым программным управлением, но она устроилась на какую-то конторскую службу. Заочно окончила библиотечный институт в Харькове, уехала работать в библиотеку маленького военного городка в Казахстане и там вышла замуж за совсем немолодого капитана, такого же чернявого и щуплого, как её папа. Лет ей уже было хорошо за тридцать, когда они поженились, но ведь вышла всё-таки!.. И человек, смотри, попался достойный – всё тихим голосом: «Лиля, ты не могла бы мне простирнуть зелёную рубашку?», «Лиля, не сочти за труд налить чашку чаю», «Лиля, как ты скажешь, так и сделаем»… Ну просто кино – и не верится!

Беда после открылась: детей у них никак не получалось родить – и два, и три года, и пять лет после свадьбы. Лечились-консультировались множество раз: Лиля самоотверженно внимала советам, настойчиво глотала таблетки и выполняла все предписания – причём старалась не только она, но и её капитан, которому тоже пришлось пройти кучу малоприятных обследований и процедур, но ничего из этого не вышло.

Капитана (а потом и майора) стали мотать по стране, и Лилька наездилась с ним вдоволь. Поздней ветреной осенью, во время одного из таких, уже ставших привычными переездов из одной части в другую, они сошли с поезда на крохотной станции со своими тремя дерматиновыми чемоданами, исцарапанными до белизны вдоль и поперёк. Шёл назойливый мелкий дождь, обещанная машина из части ещё не пришла, и в пустом, прокуренном зальчике ожидания Лилька сразу увидела на скамейке свёрток из сиреневого байкового одеяла. Свёрток издавал квакающие звуки, рядом стояла железная кружка, оттуда торчала бутылочка с соской, и молока в бутылочке было на треть. Кто это всё здесь оставил, установить не представлялось возможным: в зальчике никого не было, окошко кассира казалось закрытым навечно, а мужичок в железнодорожной форме мгновенно исчез куда-то с перрона, как только поезд, после пятиминутной стоянки, отошёл. Но когда Лиля развернула свёрток, то ничего устанавливать уже не захотела и только выдохнула: «Будет наш!», решительно определяя подкидыша в их семью.

Майор был совершенно ошеломлён таким поворотом событий. Он постоял на перроне. Поглядел в одну, в другую сторону, на мокрые рельсы, на небо. Поёжился. Несколько раз обошёл домик

станции. Старательно подёргал все попавшиеся ему двери. Выдвинулся подальше на дорогу... Никого.

Он не переносил, когда нужно было выкручиваться, придумывать, делать что-то по блату – и всячески этого избегал. Но тут, скрепя сердце, решил всё как надо. В части сказал так: была жена беременная, по дороге начались роды, и родился мальчонка – пришлось, мол, папаше самому принимать. Никто подробно и не интересовался, как это произошло. Кадровик был сильно пьющий и безразличный почти ко всему, как и большинство сослуживцев: приехала семья нового офицера, жена, ребёнок – какие могут быть вопросы? Ясно-понятно, наливай, за приезд! И по второй, и по третьей: за окнами – серый плац, на него льётся, не переставая, холодная серая мерзость, и сотни километров до какой-то другой, не серой жизни, если такая вообще где-то ещё есть...

Короче говоря, справки сделали, а потом майор съездил в райцентр и записал там новорождённого. Наверное, без подарков нужным людям не обошлось, но в подробности Лильку он не посвятил – у неё и так забот хватало: малыш был очень слабенький, всё время болел – и с кормлением намучились, и с лечением... лучше не вспоминать.

В общем, после появления малого Лиля уже больше в библиотеке не работала, однако чётко, по-строевому, без лишних вопросов и разговоров выполняла нелёгкую домашнюю работу во всех многочисленных передвижениях по местам майорской службы. Но когда произошло долгожданное назначение мужа (уже подполковника) в большой город и получение замечательной двухкомнатной квартиры с настоящими удобствами, постепенно утвердилась в положении уважаемой жены и матери, стала очень общительной и общественно полезной. Успевала заниматься делами и дворового, и родительского, и ещё каких-то комитетов, много, шумно и тщательно обсуждая подробности каждого дела с теми, кто имел к этим важным делам отношение непосредственное, а заодно и с теми, кто не имел к ним отношения совершенно никакого. Делилась жизненными наблюдениями (а повидала она за годы вынужденных путешествий немало), рассуждала о характерах людей, довольно подробно рассказывала про свою семью, хвалила мужа и сына, но, понятно, никогда ничего не говорила о событии, происшедшем на безлюдной осенней станции, вот уже четырнадцать… нет, погодите, пятнадцать лет тому назад.

* * *

Домой он не пришёл. Мама Пасюка долго ждала, забеспокоилась, заметалась по комнате, выскакивала на улицу, затем отчаянно кинулась – шесть кварталов – в школу. Свет горел только в вестибюле и двух окнах второго этажа – Марк Давидович проверял контрольную. Кроме него и вахтёрши в школе никого не было. Когда совсем стемнело, мама Пасюка решилась позвонить мужу – раньше беспокоить его боялась, зная, что начались большие командно-штабные учения.

Подполковник сообщил в милицию. Те долго расспрашивали, искать не хотели, обещали, что мальчишка сам придёт: у них такие истории – сплошь и рядом, каждую неделю по несколько раз. Однако сводку разослали, и ближе к ночи постовые застукали Пасюка на вокзале.

Он сидел в зале ожидания, в углу, на скамейке – руки на коленях, смотрит куда-то наверх и слегка вроде улыбается… или не улыбается? Непонятно. Никто не смог вытащить из него ни слова. Привезли домой, и она снова, как когда-то, переодевала, мыла, кормила с ложечки, укладывала спать, разве что не пеленала… Он не сопротивлялся ничему, но молчал, с той же прилипшей к лицу полуулыбочкой – так и уснул с ней. Она просидела рядом всю ночь, при свете зелёного ночничка смотрела ему в лицо, и ей становилось всё страшнее.

Подполковник вернуться домой в этот день не смог, а в коротком телефонном разговоре обещал заскочить только к завтрашнему вечеру – учения были в самом разгаре. Утром она потащила сына к врачу, а оттуда парня уже не отпустили и на «скорой» отправили, как ей сказали, «в стационар».

Слух обо всём этом как-то добрался до школы, и возле дома маму Пасюка ждала ужасно встревоженная Ирина Валентиновна, которая тут же путанно поведала, что произошло вчера на уроке истории. И про то, что Пасюк,выйдя из класса на её уроке, оказывается, в школу уже не вернулся, ипортфель его остался под партой (вот я его вам принесла!). И когда ей сегодня стало известно про бегство и состояние Пасюка, она нашла адрес и примчалась к их дому (я, понимаете, вас жду, жду тут уже несколькочасов!). И она очень извиняется, что не сделала это сразу, ещё вчера, и вообще, извиняется зв все…, но, понимаете, вообще-то Коньков - хороший мальчик... и ученик хороший...

Тут мама Пасюка, которая, ничего не говоря и даже не моргая, слушала Ирину Валентиновну, внезапно ухватила маленькую учи-

тельницу за тонкие плечики и, ощутимо встряхнув, выпалила:

– Вот эта мамочка хорошего мальчика, эта шалава гинекологическая, и постаралась!.. – и ушла к себе домой.

Сказать, что Ирина Валентиновна осталась стоять на улице с открытым ртом, будет, конечно, весьма стандартным выражением, но что скажешь, если она действительно осталась так стоять?

* * *

Подполковник приехал через полчаса.

– Лиля, ну что? – спросил он с порога.

– Он – в больнице, заболел, – спокойно отвечала она, – но сказали, что всё будет в порядке. Иди поешь, я тут, на кухне накрыла.

– Да, да, – сказал подполковник, – я ненадолго, машина ждёт. Что это с ним? Простуда, температура? Он бредит?

– Да, немножко бредит, – отозвалась она с кухни.

– Ты думаешь, всё будет в порядке? Ты подъедешь к нему завтра? У меня тут – как назло!..

Он сокрушённо покачал головой, снял ремень, китель, оставил всё на стуле в комнате и закрылся в туалете.

Она быстро вытащила из кобуры пистолет, постучала в дверь туалета («Я – к Антоновне, на минутку, сейчас вернусь!»), набросила куртку и, тихо отворив дверь, выбежала из дома. Она помнила, что это недалеко.

Ей нужно было только перебежать наискосок двор и пересечь узкий бульварчик…

* * *

…– Зоя-Ванна, тут мама Пасюка пришла! – горланит санитарка, вполоборота повернув голову куда-то назад, в длинный коридор.

– Хто? – издалека спрашивает кто-то невидимый.

– К Пасюку, говорю, мама пришла, – повторяет санитарка.

– А-а… пропускай! – поступает команда, и мама Пасюка движется по коридору.

Санитарка смотрит ей вслед и шепчет другой, должно быть, новенькой санитарке, выглянувшей из ближайшей двери:

– Это та самая – мама Пасюка… Она тогда выстрелила в лицо мальчишке – однокласснику её сына. И в мамочку этого мальчишки тоже стреляла, но никого не убила. Говорят, парень после выстрела стал страшным уродом, и мамочку его долго латали. Такие ужасы – и не говори!.. А эта отсидела – и теперь вот каждый день приезжает сюда к своему сыну. Только он же... ну, ты знаешь…

– Пасюк, – в то же время бодренько приговаривает в дальней палате Зоя-Ванна, – твоя мама пришла, слышишь, мама твоя пришла!..

Её голос неутомимо и настойчиво будет повторять это еще много-много раз, пока тот, кому повторяют, наконец, не отзовётся, как будто нараспев, почти невнятно:

– Не-э... не-э... нету у меня-а ни-ка-кой мамы-ы.

* * *

В сумерки чахлый автобусик с одной-единственной пассажиркой устало возвращается по пустой серой дороге из пригорода, где расположена старая психиатрическая больница. Пассажирка в тёмном пуховике сидит, уставившись в забрызганное окно, и всё покачивается и покачивается, словно большая, грузная тряпичная кукла. На дорогу льёт, не переставая, холодная серая мерзость, и хотя время от времени чуть покалывают глаза размытые огоньки редких придорожных фонарей, неуклюжих производственных построек и жилья, уже понятно, что нет никакой другой, не серой жизни, если где-то вообще она есть.

Семён Каминский *- прозаик, редактор, издатель. Родился в 1954 году в городе Днепропетровске. Образование высшее техническое и среднее музыкальное. Публикуется в литературных изданиях в США, России, Украине, Канаде, Израиле, Германии, Финляндии, Белоруссии, Латвии, Дании («Литературная газета», «Сибирские огни», «День и ночь», «Время и место», «Зарубежные записки», «Ковчег», «LiteraruS», «Зинзивер», «Южная звезда», «Побережье» и мн. др.). Рассказы и очерки переведены на английский, французский и финский языки. Лауреат премий журналов «Дети Ра» (2011-2012), «Сура» (2012), «Северная Аврора» (2012). Член Союза писателей XXI века, Международной ассоциации писателей и публицистов. Член редколлегий журнала «Зарубежные записки», еженедельника «Обзор» (Чикаго), газеты «Наша Канада» (Торонто).*

Живёт в Чикаго.

Редакция нашего журнала сердечно поздравляет постоянного автора “Времени и места” Семена Каминского с 60-летием. Здоровья и новых творческих удач, коллега!

БОРИС РУМЕР

ПАРАДОКС ТРИФФИНА

Грозит ли миру деамериканизация

Глядя на поток информации о ситуации в США и влиянии в мире, большинство американцев скептически оценивает и нынешнее положение страны, и направление, в котором она движется. «Обамамания» сменилась у большинства отрезвлением. И в общественной жизни, и особенно во внешней политике, результаты его правления пока безрадостны.

Несостоятельность Обамы вдохновляет его конкурентов на мировой политической арене. Осторожные китайцы (стала расхожей притча о сидящей на холме мудрой обезьяне, наблюдающей, как внизу дерутся тигры) утратили присущую им сдержанность. Китайский официоз - агентство Синьхуа - в редакционной статье несколько месяцев назад сделала вывод: «сейчас, пожалуй, подходящее время для одурманенного мира начать рассматривать создание деамериканизированного мира». Америка в статье обвинялась во всех смертных грехах, поэтому должен быть положен конец её доминированию и «установлен новый мировой порядок».

***

Инвесторы умерили оптимизм в отношении перспектив экономического роста, свидетельствует недавний опрос управляющих активами, проведенный Bank of America и Merrill Lynch. В нем приняли участие 241 представитель фондов, под управлением которых активы на $636 млрд. Число управляющих, уверенных в том, что в течение года темпы экономического роста ускорятся, не на много превысило число тех, кто продолжает ждать замедления.

Основным риском с непредсказуемыми последствиями участни-

ки рынка называют геополитический кризис. Так инвесторы отреагировали на события в Украине и вокруг нее. Повлияла на их настроения и общая ситуация в экономиках развивающихся стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР сообщило о резком падении объемов экспорта. Дефицит внешнеторгового баланса составил в Поднебесной более $23 млрд, тогда как годом ранее был профицит в $14,8 млрд.

В итоге инвесторы не хотят иметь дело с рискованными активами.

Резко сокращаются вложения и в Россию. Они приводят к резкому замедлению и без того ослабленной экономики страны, что негативно сказывается на привлекательности рублевых активов. Инвесторы предпочитают вкладывать деньги в развитые рынки. Они в целом убеждены в дальнейшем росте экономик США и Европы, поэтому наращивают вложения в активы этих стран.

***

Такие вот в определенной степени полярные оценки.

Публикуемая ниже статья нашего постоянного автора, американского экономиста ***Бориса Румера*** *как раз и посвящена актуальной проблеме: грозит ли миру так называемая деамериканизация.*

Деамериканизация… Конечно, мир не так «американизирован» сейчас, как даже десятилетие тому назад, не говоря уже о второй половине прошлого века. Престиж Америки, безоглядная вера в её могущество сильно подорваны в последние годы. Америка была эпицентром сильнейшего со времен Великой депрессии мирового финансового кризиса. Её Центральный банк печатает по триллиону долларов в год. Её государственный долг достиг астрономической суммы и неуклонно продолжает расти. Её политическая система не справляется со своими функциями, её доля в мировой экономике падает. Но кто может занять её место?

Многополярный мир - идеологема, пропагандируемая путинскими политфилософами, пытающимися обосновать место России, как одного из полюсов. В каждом региональном союзе есть свой полюс. В тех, где участвует Россия - это не она, а Китай. Даже члены проектируемого Путиным Евразийского Союза все больше перемещаются на орбиту Пекина. Не может в наше время сырьевая экономика претендовать на лидирующую позицию в регионе. А в мире? А в мире, в век инновационных экономик, никто не может

конкурировать с Америкой за эту позицию. Она сохраняет, и в обозримом будущем сохранит, роль мирового инновационного Центра, генератора инноваций во всех передовых областях науки и технологий.

Осознанно или неосознанно, но бунт против валютной однополярности доллара в мире -это бунт против сохраняющегося глобального экономического и политического доминирования США. Оно сохраняется, какие бы доводы против этого не приводились антиамериканистами. Больше сорока лет прошло с того момента, как Никсон вынужденно отменил конвертацию доллара в золото, обрушив, тем самым, опору Бреттон-Вудской конструкции мировой валютной системы. В течение всего этого времени идут безуспешные до сих пор поиски замены доллара как МРВ (международной резервной валюты) на какой-то реальный или виртуальный её эквивалент. Что лежит в основе такой живучести доллара, почему, несмотря на все пертурбации (взять хотя бы последний кризис) его не удается лишить статуса мировой валюты?

Как неопровержимый аргумент, доказывающий неизбежность самопроизвольной деградации доллара в качестве МРВ, приводят парадокс или дилемму Триффина (Йельский профессор Роберт Триффин, умерший в начале 1990-х). Невозможно опровергнуть логику выведенной Триффином в начале 1960-х, т.е до отмены фиксации доллара к золоту, закономерности: эмиссия международной резервной валюты должна соответствовать золотому запасу страны-эмитента. Не обеспеченная золотым запасом эмиссия, не гарантирующая обратимость резервной валюты в золото, подрывает доверие к ней. Но резервная валюта должна выпускаться страной-эмитентом в количестве, удовлетворяющем растущую в мире потребность. Следовательно, её эмиссия не может быть ограничена золотым запасом страны-эмитента. Отсюда неумолимо следует, что обеспечение Центральных банков других стран требуемым количеством отвязавшихся от золотого обеспечения долларов предусматривает следующее: эмиссия доллара должна соответствовать растущему спросу на него в мире. Беспрепятственная эмиссия порождает дисбаланс на счету страны-эмитента.

Хронический дефицит торгового баланса США (с 1976г. он сводится с негативным сальдо - превышением импорта над экспортом), дефицит бюджета, безудержно растущий, превысивший ВВП госдолг- всё это должно, казалось бы, подрывать доверие к доллару как мировой резервной валюте. И вот еще парадокс: страны, кредитующие Америку, покупая её гособлигации и тем самым заинтересованные в стабильности её экономики, в сильном долларе, эти

страны - Китай и Россия - больше всех стараются дискредитировать доллар. Не без злорадства они предвещают скорый конец долларовой гегемонии и, вообще, закат американской экономической мощи.

Сюрреалистическое нагромождение противоречий, понять и убедительно объяснить логику и здравый смысл которого - задача не из простых.

Конечно, стабильность доллара под вопросом. Продолжается рост американской долговой пирамиды. В будущем, может быть даже в относительно недалеком будущем, доллар, возможно, уступит место какой-то виртуальной, электронной «квазивалюте» в качестве МРВ. Сейчас предлагаются такие суррогаты, идет их апробация. Но век доллара еще не подошел к концу. Доллар не падает, несмотря на все эксцессы американской кредитно-финансовой политики и вызывающей циклические кризисы практики. Печатный станок работает на полные обороты, но инфляция остается низкой: 1-2%. И, несмотря ни на что, доверие к доллару сохраняется. Оно обусловлено ни с чем не сравнимой экономической мощью Америки.

Удовлетворяющая глобальный долларовый аппетит экспансия доллара опирается на инновационную экономику, поддерживается, как кто-то применительно к ней сказал, энергией «вулкана инноваций». Сохранение доверия к доллару - не опровержение установленного Триффином парадокса. Просто функцию общепризнанного ценностного эквивалента выполняет не природный ресурс - золото, а огромный, постоянно пополняемый интеллектуальный ресурс Америки. Доверие к доллару - это, по сути, доверие к её инновационному потенциалу, её интеллектуальному капиталу.

Но этот возобновляемый ресурс в состоянии поддерживать статус доллара до тех пор, пока продолжается рост долговой пирамиды, а он все-таки не беспределен. Все финансовые пирамиды рушатся, начиная с пирамиды Понци в 1920-м и кончая пирамидой Мейдоффа в 2008-м, включая пирамиду небезызвестного Мавроди в 2003-м. Все эти конструкции были построены по одной принципиальной схеме, с теми или иными вариациями, и причины их обрушения были схожи. Со временем не избежит этой участи и американская финансовая пирамида, если продолжится по заданной траектории движение трех «Д»: дефицита торгового баланса, дефицита бюджета и долга.

Однако роль мирового генератора инноваций во всех областях науки и технологий Америка сохранит в течение непредсказуемо

длительного времени. Конкурентов нет. Дело не в каких-то этнокультурных особенностях полиэтнической, поликонфессиональной «американской нации». Билл Гейтс, Сергей Брин, Стив Джобс, Марк Цукерберг - люди разных этносов. Дело в благоприятном для предельного самовыражения творческих потенций климате, в лучшей в мире материальной базе для их реализации, в востребованности бизнесом талантов и в готовности не только и не столько государства, сколько частного сектора, инвестировать в их достижения.

Если судить о величии страны, о дееспособности, об энергетике общества не по количественным характеристикам: территории, численности населения, масштабам экономики, сырьевых ресурсов, вооружений и др., а по самому важному в наше время качественному показателю - интеллектуальному потенциалу, то Америка - вне конкуренции. В 2013-м из одиннадцати Нобелевских премий (не считая премии по литературе и премии мира) девять получили американцы, в том числе все три по медицине и физиологии.

Нобелевских лауреатов в областях науки и технологий только Массачусетский технологический институт насчитывает более восьмидесяти; Гарвард - семьдесят пять. За все советские и постсоветские годы Россия произвела в этих областях 11 лауреатов. Китай - восемь, семь из которых живут и работают не в Китае, в том числе трое - в США. Может быть, Китай и превзойдет в будущем Америку по размеру ВВП, но уж никак не по инновационной мощности экономики.

Америка является интеллектуальной superpower благодаря своей иммиграционной культуре и внеконкурентно высокому академическому уровню своих университетов. У нас далеко не лучшее школьное образование. В Японии, Финляндии, Сингапуре, Южной Корее оно намного лучше. Но не продуцируют эти страны нобелевских лауреатов (если не ошибаюсь, одного дала Финляндия в 1960-х). Согласно авторитетному рейтингу Шанхайского Джао Тонг университета, в число лучших тридцати университетов мира из европейских включены только Оксфорд, Кэмбридж и Швейцарский технологический институт, а подавляющее большинство в этом списке - американские университеты. Вряд ли ошибусь, сказав, что порядка половины аспирантов и профессоров в них - не родившиеся в Америке, не native born американцы, как и Нобелевские лауреаты среди американской профессуры. Американские университеты притягивают, абсорбируют лучшие мозги из стран мира (Англия, Германия, Япония, Китай Австралия, Индия и т.д.). Это,

преимущественно, частные университеты, чрезвычайно конкурирующие между собой, с миллиардными фондами, с обширными программами фундаментальных исследований. (Между прочим, кафедры математики в них плотно упакованы выходцами из России.)

Эта гигантская интеллектуальная субстанция, как в «Солярисе» Лема, могла возникнуть и может функционировать только в условиях американской, отнюдь не идеальной, социально-экономической системы и в условиях американского капитализма со всеми его социальными и моральными издержками. Она, эта интеллектуальная субстанция, непрестанно поддерживает устойчивость Америки, её лидерство в мире, несмотря на финансовые кризисы, военные поражения и социальные коллизии. Так что говорить о «деамериканизации» пока еще преждевременно.

Борис Румер, *москвич, экономист, до эмиграции в США в1977 году публиковал статьи по экономике промышленности, инвестициям, региональной экономике в журналах "Вопросы экономики", "Плановое хозяйство"," Вестник статистики".*

С 1978-го член Центра им. Дэвиса Гарвардского Университета. Работая здесь, выполнил ряд проектов. Издал несколько книг. Напечатал много статей по экономической и социо-экономической тематике в американских и европейских журналах.

Ведет блог в журнале Exclusive (Exclusive.kz), в котором делится впечатлениями о событиях в мире, в России, в Америке.

ИСААК ФРИДБЕРГ

ФАННИ

Роман-чик

1.

Прекрасен Париж весной 1917 года! На Монмартре цветут каштаны, заглядывают в окна кипящими белыми свечами. Воздух благоухает, он чист и прозрачен, наполнен ароматами любви и надежды. Правда, над горизонтом возвышается железное чудовище инженера Эйфеля – напоминает гнилой зуб, наводит на мысли об ужасе человеческого безумия: вавилонская башня, наконец-то, построена, и вторую попытку Всесильный пресечь не сумел! Но Монмартр как был, так остался деревней на краю большого города – невысокие домики, сады, палисадники, мелкие лавочки, молочницы с бидонами. Машин мало, все больше – конная тяга, булыжник мостовой усыпан конскими «каштанами», свежими, дымящимися, как гранаты перед взрывом.

Никаких следов мировой войны.

По узкой улочке, плечом к плечу, весьма решительно и энергично вышагивают два друга, два еврея. Тони Сандраар, итальянский поэт еврейского происхождения, пишущий на французском языке – гений, намеренный в самые короткие сроки погубить мировую поэзию. И Амедео Модильяни, итальянский художник еврейского происхождения – гений, намеренный в ближайшее время надрать лицо французской живописи. Оба молоды, талантливы и чуточку безумны. Тони шокирует окружающих огромной зеленой шляпой и красным шарфом до пят; господин Модильяни с утра пораньше наклеил кудрявые цирковые усы, напялил на голову терракотовый бархатный берет, упаковал торс в бархатный же синий камзол явно театрального происхождения – словом, друзья напоминают компанию клоунов или городских сумасшедших, с бешеной скоростью рассекающих утренний туман.

Сплошной сюрреализм. Как, впрочем, и сам факт существования этой истории.

Останавливаются они перед оружейной лавкой: вход подвальный, над входом реклама – щит и меч.

Подвальчик набит воинственным барахлом: алебарды, шпаги, мечи, средневековые доспехи, фузеи, аркебузы, мортиры. На прилавке разложены кинжалы, пистолеты, бандитские кастеты и прочая бытовая мелочевка.

Молодые господа – Сандраар и Модильяни – настроены серьезно, можно сказать – трагически, глаза извергают холодные молнии, в речах слышится рокот надвигающейся бури.

- Нам нужен револьвер, - заявляет Тони.

- Один? - интересуется хозяин лавки.

Хозяин лавки вызывающе плохо пострижен, небрежно выбрит и, кажется, сильно пьян.

- Один, - отвечает Модильяни.

- С патронами? - не оставляет любопытства хозяин лавки.

- Естественно! - небрежно роняет Тони.

- На какую сумму вы рассчитываете? - беседуя о деньгах, хозяин лавки стремится выглядеть трезвым.

- Сумма должна быть минимальной! - жестко отзывается Модильяни.

Молодые люди отвечают на вопросы хозяина лавки строго по очереди. Чувствуется за этим определенная напряженность в отношениях: ни один, ни другой не намерен хоть в чем-то уступить товарищу. (Или сопернику?)

Хозяин лавки тоскливо вздыхает, достает из под прилавка ржавенький револьверчик, изобретение полковника Кольта.

- Почему такой ржавый? - возмущается Тони.

- Вам нужно стрелять, или вам нужно «ля-ля»? - обижается хозяин лавки.

- Нам нужно стрелять! - говорит Модильяни.

- Так он стреляет! - рычит хозяин лавки. - Покупайте, или проваливайте! Я жду серьезных людей!

- А мы, по-вашему, не серьезные люди? - наливается бешенством Тони.

- А то я вас не знаю! - хрипит хозяин лавки. - Малюете всякую хрень, вместо того, чтобы красить заборы, как порядочные граждане. И именуете себя художниками! Боже мой, откуда вы все свалились на наши головы? О, бедный, несчастный Монмартр… Был район как район, жили приличные люди - бандиты, воры, прости-

тутки - я считался уважаемым человеком, торговля кипела! А теперь что? Понаехали ублюдки со всего света! Малюют картины. Патроны им не нужны, пистолетов не покупают, оно и понятно - они и хлеба не покупают, голодранцы! Торговля кончилась! Прикажете с голоду подохнуть честному лавочнику? Или уехать куда подальше? Почему? Почему я должен уезжать? Я здесь родился! Ну вот ты скажи, сеньор Амедео, чего вам дома не сиделось? Что вам в Париже - медом намазано?

- Меня зовут Модильяни, Амедео Модильяни. Запомните это имя! Через пятьдесят лет мои картины будут стоить миллион франков. И ты, трухлявый французский пень, будешь гордиться, что видел меня живым.

- Дожить бы… - насмешливо сопит хозяин. - Запомни и ты, сопляк! Меня зовут Жюльен Дювивье! Не знаю, что будет через пятьдесят лет, но сегодня я ничем не хуже тебя, и вполне могу послать тебя в задницу!

- Он прав! - неожиданно хохочет Тони. - Амедео, он прав!

Модильяни на секунду задумывается, потом хохочет вместе с Тони.

- А то! - мрачно отзывается хозяин.

- Сколько стоит ваш револьвер, мсье? - отсмеявшись, интересуется Модильяни.

- Десять франков.

- Я предлагаю вам вместо денег свою картину, господин Дювивье. Вы поняли? Настоящий Модильяни. Подлинник. Всего за десять франков! Ваши дети продадут его за миллион. И поставят памятник на вашей могиле. Со словами: «Здесь лежит гений, который за десять франков купил миллион»!

- Я торгую оружием, а не картинами, господин Модильяни. Вы меня понимаете?

- И напрасно! - заявляет Тони. - Живя на Монмартре сегодня, пора менять бизнес!

- Ошибаетесь! - грохочет в ответ хозяин. - Не знаю, будет ли через пятьдесят лет кто-нибудь любоваться вашими картинами, а вот то, что через пятьдесят лет люди будут по-прежнему стрелять друг в друга - это я вам обещаю!..

2.

Кривобокий деревянный двухэтажный дом, со всех сторон утыканный мансардами, утопает в весеннем саду – кружевная белоснежная вишня, розовые лепестки груш, курчавые кусты сирени…

Плывет сквозь кипящее море цветов дом-корабль…

Посреди этого великолепия Тони и Амедео заряжают револьвер. Выглядит это следующим образом: на вытянутой ладони Модильяни лежат патроны, Тони берет их по одному и аккуратно заправляет в барабан кровожадного изобретения полковника Кольта. При этом молодые люди мило беседует.

- Конечно, это непристойно устраивать дуэль с одним пистолетом, - говорит Модильяни. - Но что делать, если на два нет денег?

- Два пистолета для дуэли - буржуазное пижонство, - отвечает Тони. - Вполне можно обойтись одним. Сначала стреляю я, потом, если останетесь живым, вы. Возьмете у меня пистолет и выстрелите.

- Почему это вы стреляете первым?

- Я просто так сказал, к примеру. Разумеется, мы бросим жребий. Готово.

- Послушайте, Тони, может бабахнуть разок? На пробу. Он такой ржавый… У меня сомнения…

- Чего проще?!.

Тони направляет пистолет в небо и спускает курок. Раздается оглушительный выстрел.

В мансардных окнах тут же появляются всклокоченные сонные головы возмущенных обитателей Монмартра.

- Послушайте, - жалобным голосом стонет голубоглазый красавец. - Ну почему надо убивать людей именно под моим окном? Я всю ночь работал… только прилег…

- Господин ванн Донген, если мы вам мешаем – закройте форточку! – вежливо отвечает Модильяни.

- Сколько можно делить бабу?! - грохочет из другого окна басовитый брюнет. - Тони! Господин Модильяни - психопат, это известно. В отличие от него, вы же нормальный человек?

- Я нормальный человек? Я? Которому нравятся ваши мясные туши? Не ожидал от вас, господин Сутин!

- Я выразился сугубо теоретически. То есть - в сексуальном смысле. Я не хотел вас обидеть. Отдайте ему бабу! Пусть кувыркается в своих эмпиреях!

- С какой стати? Я уже отдал ему мадмуазель Волконскую. Так нет, теперь ему нужна Тася. Ему принципиально нравятся только мои любовницы! Поэтому я его вызвал на дуэль!

- Мне нравятся русские женщины. Что я могу с этим поделать? - грустно спрашивает Модильяни.

- Как - что? Ехать в Россию! - объявляет Сутин.

- Там революция… - вздыхает Модильяни. - Это опасно… Могут убить.

- Вас убьют здесь и сейчас, - сдавленным шепотом отзывается Тони. - Хватит болтать. Тяните жребий и пошли в кусты!

Тони стремительно уходит в заросли сирени, подальше от мансардных окон. Там останавливается, поворачивается лицом к Модильяни, заводит руки за спину. В одной руке – револьвер, другая свободна и манипулирует пальчиками.

- В какой руке?

- Что «в какой руке»? - уныло отзывается Модильяни.

- В какой руке пистолет? Угадаете - стреляете первым!

- Послушайте, Тони, - говорит Модильяни. - Поскольку у нас один пистолет, человек, стреляющий первым, может стать убийцей…

- Естественно, - усмехается Тони. - А вы как хотели?

- Я не в том смысле… Предположим, я выстрелил и попал.

- Сильно сомневаюсь.

- Предположим. Приезжает полиция… и получается, что я стрелял в безоружного человека.

- Что вы предлагаете?

- Прежде чем стрелять… мы оба должны написать завещание. Где все объяснить.

- Вы с ума сошли. Мы что, сейчас пойдем к нотариусу?

- А что делать…

- Это пошло! Как можно свою смерть заверить у нотариуса? Я поэт, а не бухгалтер. Вы просто трусите,Модильяни? Так и скажите. Я всегда говорил, что вам не хватает смелости. Вот Пикассо не боится нарисовать глаза на заднице. А вы боитесь! Боитесь-боитесь-боитесь!

- Я не боюсь быть убитым! Это прекрасный финал биографии художника. Но стать убийцей и доставить вам это удовольствие? Никогда! Ваши поклонники будут просто счастливы, если вас убьют на дуэли! С какой стати я должен жертвовать собой ради вашей биографии?

- Ах, так?

- Да, так!

- Хорошо. У меня идея.

- Прошу.

- Русская рулетка. Один патрон - и выстрел в голову. Повезло – живой, не повезло – прекрасное завершение биографии. Любой позавидует!

- Согласен!

- И я согласен!

Тони откидывает барабан револьвера, вынимает патроны, кроме одного, возвращает барабан на место, лихо вращает его большим пальцем.

- Прошу!

Модильяни берет револьвер, прячет за спину.

- В какой руке?

- В правой!

- Не угадали!

- Прекрасно! Значит, вы первый!

- Я… первый? - упавшим голосом переспрашивает Модильяни.

- Да… неожиданно сочувственно произносит Тони. – Так получилось…

Глаза Модильяни увлажняются… Он порывисто дышит… Потом медленно подносит револьвер к виску… Время останавливается…

Именно в это мгновение рождаются его знаменитые «слепые» глаза, запечатленные позднее в миллионах репродукций.

Палец нажимает спусковой крючок. Щелчок - курок срабатывает, но тщетно. Патрона перед ним нет, курок ударяет в пустоту. Выстрел не последовал! Модильяни опускает револьвер.

Тони пристально смотрит на Модильяни. Говорит спокойно, почти деловито:

- Запомни этот взгляд… Он сделает тебя знаменитым…

Вынимает оружие из безвольной руки Модильяни… Вращает барабан… Поднимает ствол к виску… И в это мгновение…

В это мгновение из окна мансарды вылетает Валькирия, бежит несколько шагов по железной грохочущей крыше, взмывает в воздух - полупрозрачное струящееся платье похоже на крылья - пронзает цветы и листья, приземляется рядом с Тони, выхватывает из его руки смертельное изделие имени полковника Кольта, кричит срывающимся голосом:

- Что… Что… Что это вы надумали… Дураки… Дураки…

Она выплакивает эти слова по-русски, а все предыдущие разговоры, естественно, проходили на французском.

Она обнимает Тони, гладит его по голове, целует его разлетающиеся пшеничные волосы…

- Мадмуазель Тася… Извольте говорить по-французски… Мы вас не понимаем, - обиженно говорит Модильяни.

Тася тут же обнимает и его, притягивает к себе обе головы, целу-

ет их попеременно – пшеничного Тони и иссиня черного Модильяни, гладит, ласкает, прижимает к себе… На вид ей – тоже годиков двадцать, но каким-то необъяснимым образом выглядит она чуть старше обоих дуэлянтов...

- Дураки-дураки, - ломая ударение, по-детски спрашивает Модильяни. - Это что?

- Это очень хороший человек, очень добрый, но… чуточку не умный… Его в России все любят…

- В России любят дураков? - спрашивает Модильяни.

- Не всех… некоторых… - отвечает Тася.

- Извините, мадмуазель, вы пришли не совсем вовремя. Эффектно, я согласен, но не совсем вовремя. Господин Модильяни сделал свой выстрел, а я нет. Теперь моя очередь. Вы не могли бы нас оставить ненадолго. Минут на пять, на семь…

- Тони… Милый… Он вас простит… Уже простил, правда Ами? - В данном случае это не имеет значения, - мягко отстраняет ее от себя Тони. – В вопросах чести не бывает исключений. Пятно позора ляжет на весь мой род. В том числе, и на наших с вами детей, если они у нас будут. Вы понимаете? Верните мне револьвер…

- А в чем дело? Что случилось? - спрашивает Тася.

- Я люблю вас, - говорит Тони. - И не могу допустить тех знаков внимания, которые вы оказываете господину Модильяни.

- Но я люблю вас обоих! - шепчет Тася. - Вы оба… такие красивые… такие талантливые… такие… разные… Я не могу без вас…

- Вам придется выбрать, мадмуазель, - холодно произносит Тони. - Будьте любезны…

Он протягивает руку к оружию и ждет. Вместо ответа Тася поднимает револьвер к своему лицу и кладет палец на спусковой крючок.

- Мне нравится эта игра, - сдержанно произносит, уперев ствол в висок. - Но это и моя игра. Я ее полноправный участник.

- Мадмуазель… - шепчет Модильяни.

- Мадмуазель… - шепчет Тони. – Мы вас умоляем…

- Да, - шепчет Модильяни, - мы умоляем… Если вы того желаете… Я согласен остановить дуэль…

- Да, я желаю, - строго произносит Тася.

Она опускает револьвер. Сует его в карман длинного пальто Тони. Потом берет в одну руку конец красного шарфа, обвивающего шею Тони, другой рукой прихватывает бархатный воротник Модильяни, и движется к дому, как крестьянка с двумя быками-кормильцами на картине Венецианова.

Из окон мансарды раздаются жидкие аплодисменты.

3.

После хорошей дуэли обычно бывает зверский аппетит.

Посреди комнаты-студии обретается большой длинный стол. Одна половина стола завалена живописными принадлежностями: мольберты, краски, кисти в пузатых вазах (много кистей), подготовленные к работе картоны. Другая половина стола накрыта скатертью, сервирована фарфором, серебром и хрусталем. Модильяни и Тони сидят рядышком, каждый у своего прибора, как примерные дети. Тася приносит из кухни дымящуюся кастрюлю с борщом, сковороду шкворчащих котлет, всему находится место на столе, Тася щедро накладывает еду голодным дуэлянтам, они набрасываются на еду.

Стены студии увешаны живописными картонами в стиле раннего Малевича – яркие, цветные люди-силуэты на фоне условных пейзажей. Но, странное дело, в силуэтах безошибочно угадываются и Модильяни, и Тони, и уличная молочница, и оружейник из лавки, и сама Тася – а пейзажи точно выдают место действия: Париж, Монмартр. И не потому, что кое-где торчит сине-зеленым гнилым зубом башня инженера Эйфеля….

- Мадмуазель Тася! - не отрываясь от еды, спрашивает Модильяни. - Не все русские женщины пишут такие превосходные картины, как вы. Но все, без исключения, русские женщины, которых я знал, замечательно готовят борщ и котлеты. Это русская традиция?

- Да, эти русские любят пожрать! - пережевывая слова вместе с котлетой, говорит Тони. —Мой сосед Хаимка Сутин может в один присест сам съесть рождественскую утку.

- Сутин не русский! - смеется Тася.

- А кто? - удивляется Тони.

- Еврей, - отвечает Тася.

- Еще один?– удивляется Тони, заканчивает еду, громко вздыхает, переводит глаза на стену и торжественно изрекает. – Тасенька, ваш последний картон – истинный шедевр.

- Он подлизывается! - злобно отзывается Модильяни.

- Вижу, - улыбается Тася.

Она встает из-за стола, таинственная и неотразимая. В комнате воцаряется тишина - настолько полная, что в открытое окно слышна репетиция оркестра из Красной мельницы. Оркестр играет канкан, только очень медленно и драматично, как серьезное симфоническое произведение. Тут же слышится истошный вопль невидимого хозяина заведения: «Стоп! Стоп! Господин дирижер! Что это

такое?! Вы играете в Мулен Руже, а не на похоронах! В пять раз быстрее! В десять раз! Дайте мне страсть!»

Модильяни и Тони похожи на двух птенцов, которые видят прилетевшую мамочку, в клюве которой – самый вкусный в мире сахарный червячок. Глаза раскрыты и полны томительной надежды, губы трепещут, источают сладость.

Тася поднимает руку, выпрямляет указательный палец, который недвусмысленно указывает на Модильяни. Модильяни, краснеет от счастья, вскакивает из-за стола - грудь колесом, из глаз сыплются молнии, кудрявые усы торчат столбом.

- Почему он? - едва не хнычет Тони. - Сегодня моя очередь!

- Сегодня вы плохо себя вели, – строго отвечает Тася. - Затеяли эту свинскую дуэль! Хотите распоряжаться мной, как жадный и жалкий собственник? Вы наказаны!

С этими словами Тася берет Модильяни под руку и уходит с ним в коридор.

Коридор длинный, по обе стороны коридора - двери в комнаты-студии. В глубине коридора Тася и Модильяни находят свою дверь и ныряют в нее.

4.

Печальный Тони остается один в комнате. Чувствуется, он любит Тасю, и необходимость делить ее – пусть даже с лучшим другом – приносит ему страдание.

Стучат в дверь.

- Открыто, - мрачно бурчит. Тони.

На пороге появляется французский почтальон. Достает из сумки телеграмму.

- Телеграмма из России. Для госпожи Таисия Гринев.

- Ее нет. Можете мне оставить.

- Срочная!

- Я понимаю. Как только – так сразу…

Почтальон отдает телеграмму, уходит. Тони смотрит в телеграмму. Видит слова – буквы французские, а слова русские. Тони ничего не понимает. Слова такие: «Матушка скоропостижно скончалась тчк Жду распоряжений относительно похорон тчк Управляющий Дурасов»

С телеграммой в руках Тони выходит в коридор. Идет к двери, за которой скрылись Тася и Модильяни. Дверь «играет» на сквозняке – то чуть приоткроется, то ударится о дверную коробку. Когда сквозняк приоткрывает дверь, видна стена с «Обнаженной»

Модильяни. А больше ничего не видно. Только слышатся негромкий счастливый смех Таси и сдавленное победное рычание Модильяни.

Тони прислушивается – ухом к двери. Любовные шепоты, естественно, рождают маску злобной скорби на его лице, очередной порыв сквозняка бьет его дверью по уху. Тони обиженно выпрямляется и гордо удаляется прочь с телеграммой в вытянутой руке – именно телеграмме адресовано, кажется, его презрение.

5.

В другом конце коридора Тони стучит в закрытую дверь. Слышит голос Сутина, нервный и жесткий.

- Я работаю!

Тони стучит снова.

- В чем дело?! Я работаю!

- Господин Сутин, извините…

Сутин рывком открывает дверь. Худое лицо. Голодные бешенные глаза. На подоконнике – обнаженная модель. У окна – мольберт с картиной.

- Ну?! - угрожающе интересуется Сутин.

- Господин Сутин, мне сказали, вы - еврей?

- Ну?!

- Но вы из России?

- Ну?!

- Вы читаете только по-еврейски, или по-русски тоже?

- Извини, дорогая, - говорит Сутин модели. – Это наш городской сумасшедший. Милостыню собирает. Сейчас я ему подам, и вернусь к тебе!

Сутин выходит в коридор, закрывает за собой дверь, лицо его не предвещает ничего хорошего.

- Господин Сутин, - торопливо начинает Тони, стараясь объяснить проблему, пока Сутин не начал драться. - Пришла телеграмма для Таси, из России, почтальон сказал срочно, буквы французские, слова – русские, я ничего не понимаю… Может быть, вы прочтете?

- А где Тася?

- Она… занята…

Сутин бросает на Тони огненный взгляд, история кажется ему достоверной, он сменяет гнев на милость, берет из рук Тони телеграмму, читает, хмурится. Сочувственно смотрит на Тони.

- Это несчастье, Тони… У мадмуазель Таси умерла мама. Управляющий спрашивает, что делать… Я могу чем-то помочь?...

- Боже мой… Боже мой…, - шепчет Тони. - Какая беда… какая беда…Это огромная потеря для французского искусства… Мадам Гринева была так добра ко всем нам…

- Да…, - вздыхает Сутин. - Каждый месяц я получал от нее новые краски…Ни разу не забыла…

- И мою книгу стихов она издала… Да что говорить, она просто всех нас кормила…

6.

Тася и Модильяни возвращаются в комнату-студию Таси – веселые, счастливые, танцующие, с шампанским и звенящими бокалами в руках.

Тони мрачно смотрит в стол, сидя на самом краю. Перед ним – телеграмма.

- Тони! Кончай дуться! - кричит Тася. - Мы опять вместе!

Модильяни открывает шампанское, Тася кружится вокруг Тони, пытается его оторвать от стула.

- Я хочу танцевать! - продолжает Тася. - Немедленно! Заводи музыку!

- Извини меня… - шепчет Тони.

- За что!

- Извини меня… Сегодня неудачный день… - он протягивает ей телеграмму.

Сад стал черным. Вишни, груши, сирень, их цветы и листья – все погрузилось в траур… И это не какая-нибудь поэтическая метафора, нет, природа погрузилась в черное – вернее ее погрузили в черное, и не кто-нибудь, а лично господин Хаим Сутин. Он ходит по саду, за спиной – садовый пульверизатор, в руках – труба с форсункой. Форсунка изрыгает облако черной темперы, темпера падает на цветы и листья – вот уже последний куст почернел и затих.

В саду толпится молодежь – временные жильцы дома, каждое лицо и имя – будущий бриллиант. Но пока все они – малоизвестные, не ограненные славой алмазы. Их много, человек двадцать, каждый постарался накинуть на себя что-то черное.

На ступенях дома-корабля возвышается маленький резной столик, на нем выставлена фотография Гриневой-старшей, матери Таси. Грустный Амедео Модильяни приносит подсвечники со свечами, расставляет их вокруг фотографии.

Мрачный Пабло Пикассо бродит меж людей и легкими балетными движениями бросает всем на лица прозрачные розовые шали.

- Розовое… вот истинный цвет трагедии… - шепчет он при этом.

- Только розовое… ничего голубого…

- У вас теперь розовый период, господин Пикассо? - насмешливо интересуется костлявая полуобнаженная натурщица, которую господин Сутин только что также выкрасил в черный цвет.

- Не надо шутить, у нас горе… - кротко отвечает натурщице Пикассо.

Тони и Модильяни выводят из дверей дома Тасю. Они ведут ее под руки. Глаза ее лихорадочно блестят, лицо печально. Она видит черный сад, свечи, фотографию матери…

- Дорогая Тася, - говорит Модильяни. – Примите от нас это скромное выражение скорби – по поводу смерти вашей матушки… Мы все тут разные, поклоняемся разным богам, позвольте нам подарить вашей матушке эту необычную мессу, не похожую ни на какие другие. Мадмуазель Джулия просто споет колыбельную вашей матушке - колыбельной тысяча лет, и она достойна памяти благородного человека.

- Спасибо, господин Модильяни… - шепчет Тася.

- Мировая культура будет помнить наши имена! - с привычной нескромностью заявляет Модильяни. – А имя вашей матушки забудут. Забудут имя человека, который в трудную минуту поверил в нас - нищих, несчастных, непонятых - поверил и поддержал… простым куском хлеба. Почему-то в памяти человечества остаются кровопийцы, тираны, сатрапы, а люди добрые, нежные и милосердные - нет.

- Наверно, человечество достойно своих героев? - жестко отвечает ему Пикассо.

Модильяни наклоняет голову – это знак для Джулии-натурщицы. Тонким детским голоском, звуки которого напоминают звон серебряного колокольчика, Джулия поет старинную колыбельную на непонятном языке доисторических бретонцев.

- Спасибо… - шепчет Тася. - Спасибо, господа… я уезжаю…

- Куда? – спрашивает Сутин.

- В Россию… в Петербург… У нее никого нет, кроме меня… Я должна проводить ее в последний путь… Прощальный поцелуй…

- Позвольте… Но кругом – война?! – говорит Сутин. – Вы не забыли? Немцы наши враги, короткая дорога в Россию закрыта.

- Я нашла другую дорогу… Поездом в Голландию, через

Бельгию… Потом пароходом в Щвецию. Оттуда в Финляндию – и Петербург…

- Такое путешествие.. займет не менее двух недель…

- Я понимаю, о чем вы… Я уже была на телеграфе и распоряди-

лась. Матушку положат в ледник…

- Если вы позволите… - решительно говорит Тони.

- Да, Тони…

- Я поеду с вами!

- Спасибо, Тони…

7.

Модильяни стоит рядом. Из глаз его градом катятся слезы.

- Что с вами, дорогой? - спрашивает Тася.

- Вы не вернетесь… - всхлипывает Модильяни. - Вы не вернетесь из России. Я вас теряю…

- Я вернусь…

- Нет, вы не вернетесь… А я не могу поехать в Россию…

- Я понимаю…

- Нет, не понимаете. Я боюсь мертвых! Я никогда не бываю на похоронах… Даже, когда умерла бабушка…

- Я понимаю… Не грустите, Модильяни… Я вам оставлю телефончик… Это моя подруга Анна… Если не вернусь, позвоните ей… Она тоже русская, как вы любите.

Порывы ветра срывают с деревьев лепестки цветов, и они летят, летят – черный косой дождь – над садом, над домом, над тем Парижем, которого уже давно нет…

8.

Шумит вокзал. Людей много – большинство из них одеты в военную форму. На одной стороне платформы – санитарный поезд, несут раненых, много раненых – окровавленные повязки, бледные лица, носилки костыли. По другую сторону платформы движется похожий на игрушку паровоз с ярко красными колесами, бежит за вагоном рыдающий Модильяни, Тася и Тони Сандраар застыли в окне, над окном из трубы паровоза стелется дым, накрывает, смывает их из той, парижской жизни…

Высоко в небе дым растворяется, исчезает, видна под ним Европа – будто с птичьего полета. Ползет по Европе маленький поезд… Совсем рядом – взрывы, дымы, огонь, пепел… Горит Европа в огне первой мировой. Рычат танки, уродливые и страшные, строчат пулеметы, ухают гаубицы, стеклянные глаза противогазов – тысячи, тысячи стеклянных глаз в смертном тумане нового, химического, оружия…

Игрушечный поезд достигает Бельгии, потом Голландии, на пароме переплывает море, пересекает Швецию, границу с Финляндией…

9.

В вагоне-ресторане – шумно от разговоров и стука тарелок, дымно от грубых американских сигар и золоченых европейских пахитосок. Желтыми масляными шарами светятся электрические светильники.

Тони и Тася ужинают, за окнами, позади бархатных занавесок – глухая ночь, и только стук колес напоминает о движении.

За соседним столом бурлит компания: необыкновенно возбужденные господа в котелках пьют пиво, смеются в голос и ни с того, ни с сего запевают марсельезу. Дирижирует весельем небольшого роста рыжий господинчик с бородкой клинышком. Голос у него звонкий, сильный и слегка картавый. Иногда господинчик снимает котелок, чтобы носовым платком протереть запотевшую лысину, и тогда отчетливо виден его огромный, «сократовский», лоб.

Вытерев лоб, господинчик пронзительно кричит:

- Как вы не понимаете? Сейчас главное – донести до народа апрельские тезисы! Немедленно, без промедления, вложить в уста, ворваться в сознание, дать направление мысли!

Вокруг него тут же вскипает словесная битва.

10.

Перрон Финляндского вокзала забит людьми. Управляющий Дурасов с трудом пробивается к вагону, на ступенях которого стоят Тася и Тони Сандраар. Дурасова сопровождает пара носильщиков – бороды лопатой, белые холщевые фартуки.

- Господин Дурасов! - кричит Тася. - Мы здесь!

- Здравствуйте, Тасенька, - кричит Дурасов. - Не выходите из вагона! Надо переждать! Переждать э т о!

Он наконец пробивается к поручням, целует руку Тасе, кланяется Тони.

- Знакомьтесь, господин Дурасов! Тони! Мой друг! Он из Италии, но живет в Париже и пишет стихи по-французски. Любезно согласился проводить меня в Россию! - улыбается Тася. - Совершенно не понимает нашего с вами русского языка.

- Вижу, что басурманин, - бормочет Дурасов и переходит на французский. - Дурасов, управляющий. Друг семьи, позвольте доложить…

А из соседнего вагона показывается рыжий господинчик с бородкой клинышком. Толпа не дает ему сойти на землю, его подхватывают, и так, на плечах, уносят с перрона. Рев, безумные выкрики «Ура, товарищу Ленину!»…

- Что это? - озадаченно спрашивает Тася.

- Рэволюционэры! - отвечает господин Дурасов.

- Их так много? – спрашивает Тася.

- В России сейчас рэволюционэров больше, чем людей! - тяжело вздыхает Дурасов. -Один бог знает, чем это кончится…

Подтверждение его слов – на площади у Финляндского вокзала. Дурасов выводит Тасю и ее спутника через боковую дверь, к соседней улочке, где стоит автомобиль – носильщики тащат следом огромные желтые чемоданы. Совсем рядом, там, где улочка вытекает из площади – зеленый броневик, на который карабкается рыжий господинчик. Перед ним угадывается людское море. Рыжий господинчик наконец упирается ногами в башню бронемашины, выпрямляется, выбрасывает вперед и вверх стремительную, острую, как нож, ладонь. Кричит:

- Да здравствует пролетарская революция!

- Здра-а-а! – ревет площадь.

11.

- Поехали, поехали отсюда скорей, - шепчет Дурасов.

- Подождите, я хочу посмотреть… это так интересно… - просит Тася. – Что он говорит? Почему они так страшно вопят?

- Умоляю, - шепчет Дурасов, расплачиваясь с носильщиками. - Что он говорит, завтра узнаем в газетах. А вопят они, потому что хотят крови. Нашей с вами крови, Тасенька. Потому здесь небезопасно, позвольте доложить.

- Моей крови? Вы шутите, господин Дурасов. Во-первых, я им ничего не сделала. Во-вторых, я только что приехала! Они знали, что я приеду? Откуда?

- Умоляю. Не надо слов, садитесь в машину…

- Это счастье, - вдруг торжественно произносит Тони. - Видеть своими глазами революцию, настоящую революцию… Не каждому выпадает такая судьба! У вас есть Бастилия, господин Дурасов? Они сейчас пойдут разрушать Бастилию! Это надо видеть!

- Молодой человек! – теряет терпение Дурасов. - Когда рубят головы, позвольте доложить, надо быть уверенным, что не твоя голова следующая!

- О, это очень просто! - отзывается Тони. - Надо быть с теми, кто рубит, и все. С народом! Поверьте мне, у французов большой опыт!

Красный, до пят, шарф Тони Сандраара, казавшийся в Париже вызывающей деталью туалета, здесь, в Питере - просто теряется, растворяется в море красного: флаги, транспаранты, банты в пет-

лицах, повязки на рукавах…

Над площадью, тем временем, продолжают лететь звонкие, непобедимые слова:

- Фабрики – рабочим… Земля – крестьянам… Власть – Советам… Превратим война империалистическую – в войну гражданскую…

Дурасов мрачнеет и негромко говорит:

- Ваша матушка… ждет вас уже четырнадцать дней… Поехали, а? Революцию как-нибудь сделают и без нас… А матушку без нас никто не похоронит. Садитесь в машину…

Тася и Тони повинуются. Слова Дурасова будто освобождают их от гипнотической власти толпы – и они вспоминают, зачем приехали.

Окончание – в следующем номере

Исаак Фридберг *родился в Вильнюсе. Писатель, кинорежиссер, драматург. В качестве сценариста участвовал в создании художественных фильмов "Гнездо на ветру", "Пожелай мне нелетной погоды", "Лесные фиалки". По своим сценариям он как режиссер поставил художественные фильмы "Столкновение"," Дорогой Эдисон!"," Прогулка по эшафоту". В 1988 году вышла лента "Куколка", вызвавшая дискуссию в прессе.*

Исаак Фридберг – автор сборника "Тихие праздники", "Здесь я!". В 1992 году вышел его документальный фильм "Художники еврейской диаспоры. Россия. XX век". В 2003 году -постановщик приключенческого сериала "Русские амазонки".

Вместе с режиссером Юлием Гусманом он работает над пьесой в связи с близящимся 100-летием со дня рождения замечательного актера Владимира Зельдина.

ЮРИЙ СОЛОДКИН

ЕГО БОЖЕСТВОМ БЫЛО СЛОВО

Еще о Бродском

Человек рождается поэтом, ещё не зная ни языка, ни предназначения, и только много позже, когда этот человек научится говорить и писать, в нём включается при наличии каких-то жизненных обстоятельств, самых разных у разных поэтов, удивительный механизм сочинения стихов. Далеко не всегда это происходит. Многие проживают жизнь, не зная своего Божьего дара.

Он родился и стал поэтом. Очень непростая судьба вознесла его на высокий пьедестал лауреата Нобелевской премии, обеспечивший ему мировую славу. Тут же посыпались широкие публикации его стихов и эссе и многочисленные интервью для удовлетворения любопытства читающих масс. Из воспоминаний его друзей и литературных исследований его творчества уже может быть составлена солидная библиотека. Мне, привыкшему с прогрессивным сомнением относиться к трактовкам и комментариям, захотелось самому обратиться к первоисточнику и понять или не понять, что есть поэт Иосиф Бродский. Я исходил только из того, что написано или сказано самим поэтом. В дальнейшем тексте выделенные курсивом слова Бродского перемежаются с моим ощущением, с моим пониманием этих слов.

Естественно, меня как читателя изначально интересовало, как поэт отвечает на вопросы, возникающие в моей собственной голове.С одной стороны, это то, что в философии называется метафизикой, рассуждающей о первопричинах всего существующего,о том, что вне опыта и поэтому предполагает игру воображения, не исключающую мистику. Тут поэту, как говорится, и карты в руки. С другой стороны, мне, рождённому в тот же год Дракона, что и поэт, и тоже от еврейских родителей, было любопытно, как это

повлияло и повлияло ли на творчество поэта. Эти две стороны мне были интересны в первую очередь - и тем, как они мне открылись, я решил поделиться.

Его божеством было Слово. Вся его поэзия – это поклонение Слову. Мы вторичны, Слово первично. Об этом Бродский пишет и говорит постоянно.

...Я сказал бы, что поэт в конечном счете поклоняется только одному, и это одно не выразить ничем, кроме слов, короче, это… язык.

...мы считаем, что язык - орудие поэта. Ровно наоборот: поэт - орудие в руках языка, ибо язык существовал до нас и будет существовать после нас. Что касается меня, если бы я начал создавать какую бы то ни было теологию, я думаю, это была бы теология языка. Именно в этом смысле Слово для меня - это нечто священное.

...Детская привязанность к языку...завершается для взрослого человека преклонением перед поэзией как формой высшей зрелости данного языка.

...Многие вещи определяют сознание помимо бытия,одна из таких вещей - язык.

... религиозное сознание нуждается в языке ... для молитвы. Вполне возможно, что будучи голосом человеческого сознания, язык вообще во всех его проявлениях и есть молитва.

...Поэт всегдазнает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деледиктат языка; что не язык является его инструментом, а он - средством языкак продолжению своего существования.

...К чему поэт действительно прислушивается – это к языку: именно язык диктует ему следующую строчку.

...У поэта есть только один долг перед обществом: писать хорошо. Собственно, это долг не столько перед обществом, сколько по отношению к языку. Поэт, долг этот выполняющий, языком никогда оставлен не будет.

...Язык выталкивает поэта...туда, откуда язык пришёл, туда, где в начале было Слово или различимый звук.

...дух,ищущий плоть, но находящий слова. (Это о Мандельштаме, но то же самое он мог бы сказать о себе).

... поэзия не развлечение и в определённом смысле даже не искусство, но наша... генетическая цель, эволюционный ... путеводитель.И в момент чтения вы становитесь тем, что вы читаете,

вы совпадаете с состоянием языка, которое зафиксировано в стихотворении.

...Я родился в России и в её языке.

...Единственное, во что я действительно верю, что дает мне опору в жизни - язык. Если бы мне пришлось создавать Бога для самого себя, кого-то, кто безраздельно правит, это был бы русский язык. Во всяком случае, русский язык был бы его важной частью.

...Самое святое, что у нас есть, – это, может быть, не наши иконы, и даже не наша история - это наш язык.

Можно продолжать и продолжать цитировать. Всё творчество Бродского пронизано обожествлением Слова, поклонением Языку.Но поэту мало поместить язык в начало начал, наделить его независимой от человека духовной мощью. Бродский всерьёз говорит о материальности языка.

...Язык есть ... первая линия информации неодушевлённого о себе, предоставленная одушевлённому. Или ... язык есть разведённая форма материи. Создавая из него гармонию или даже дисгармонию, поэт, в общем-то бессознательно, перебирается в область чистойматерии ...

...Помимо своей функции голоса сознания язык ещё и самостоятельная стихия,

способность которой сопротивляться ... выше, чем у сознания как такового.

Бродский приписывает языку неимоверную внутреннюю силу, борьбу внутри себя, где сосуществуют все грани мироздания, где воистину реализует себя единство и борьба противоположностей. Имя этой силы –

...всеядная прожорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины,смерти, бесконечности и Спасения, и тогда оннабрасывается на себя.

Набрасывается на себя, сжирает себя до бессмыслицы, до нелепого набора звуков, отражающих безумный хаос и никчемность существования.

Бродский не может смириться с тем, что понимание поэзии – это удел избранных.

...Поэзия – самая высшая форма высказывания в любой культуре. Отказавшись от чтения стихов, общество обрекает себя на низшие речевые стереотипы в устах политика, бизнесмена или шарлатана, т.е. на собственные речевые возможности. Другими словами, оно лишается своего эволюционного потенциала, ибо то,

что отличает нас от животных, это дар речи. Обвинения, то и дело предъявляемые поэзии, что она трудна, темна, герметична и что там ещё, говорят не столько о состоянии поэзии, сколько о том, на какой низкой эволюционной ступени задержалось общество.

Бродский иронизирует, напоминая, что он сотрудник библиотеки Конгресса, и считает своей должностной обязанностью предложить выпуск лучших стихов миллионными тиражами по доступной каждому цене. Только это, по его мнению, может спасти общество от «низших речевых стереотипов». Книга лучших стихов, считает он, должна лежать рядом с Библией в каждом гостиничном номере. Но кто будет определять, какие стихи лучшие в многотонных книжных собраниях, а теперь и в гигабайтах памяти? Бродский предлагает, тут можно смеяться, двух-трёх назначенных авторитетов (интересно, кем?!). Уверен, попроси его назвать этих двух-трёх, он с присущим ему чувством юмора назвал бы одного-двух. От скромности поэт Бродский не страдал.

В блестящем от начала до конца стихе «Испанская танцовщица» есть два подряд четверостишия, которые являются, на мой взгляд, ярчайшей демонстрацией, что есть язык для Бродского в своём наивысшем поэтическом выражении. Зажигательный танец, вызывающий сам по себе восторги публики, для поэта всё – все времена в одном мгновении, всё пространство в одной точке.

В нём скорбь пространства
о точке в оном,
себя напрасно
считавшем фоном.

В нём - всё: угрозы,
надежда, гибель.
Стремленье розы
вернуться в стебель.

Бесконечное пространство сошлось в точку. Танцовщица – его создание, его воплощение. Пространство не фон. Оно Творец. Энергия бесконечной пустоты сублимировалась в точке, в танцовщице. Она прекрасна, но временна, мгновенна, мимолётна, и пространство скорбит по этому поводу вместе с поэтом, который тоже его создание. В танцовщице, в её танце всё, что нас ждёт – угрозы, надежда, гибель и всё, что прошло, что утрачено, к чему нет возврата и есть только воспоминания, которые сродни стремленью розы вернуться в стебель. Диссонансная рифма «гибель – стебель»

с совпадающим безударным слогом заставляет остановиться, почувствовать важность момента и отдать должное мастерству поэта по имени Иосиф Бродский.

Метафоры в коротких рубленых строчках перехлёстывают друг друга. Вертикаль, уходящая в небо, мстит горизонтали, опоясывающей Землю. Разряд молнии казнит равнину, и танец уже, как ***«кровь из раны, побег из тела в пейзаж без рамы»***. Мало? Тогда вот вам ещё:

О, этот танец!
В пространстве сжатый
протуберанец
вне солнца взятый!

И этого мало? Тогда есть ещё и рай, и всемирное тяготение, и престол небесный:

...виденье Рая,
факт тяготенья,
чтоб, расширяя
свои владенья,
престол небесный
одеть в багрянец.
Так сросся с бездной
испанский танец.

Вот бездной можно уже и закончить стих. Танец, как и бездна, без дна, т.е. неисчерпаем. В нём вся Вселенная, как в капле воды океан.

После такого стиха становится понятным мистическое ощущение автора, что строки ему диктуются сверху. Это ощущение подкрепляется кажущейся лёгкостью написания на одном дыхании, под сильным впечатлением от увиденного. Испанский танец в блистательном исполнении разбудил такие вселенскиевидения в поэте, что ему ничего не оставалось, как исполнить предназначение и написать блистательный стих.

Слова, считал Бродский, как и люди, имеют свою судьбу, свой статус. Слово «русский» у Бродского было не национальностью, а определением к слову «язык», а слово «еврей» – несомненным подлежащим, отягчённым последствиями.

...В печатном русском языке слово "еврей" встречалось так же редко, как "пресуществление" или "агорафобия" Вообще, по своему статусу оно близко к матерному слову или названию венерической болезни.У семилетнегословарь достаточен, чтобы ощутить редкость этого слова, и называть им себякрайне неприятно...Помню, что мне всегда было проще со словом "жид": оно явно оскорбитель-

но, а потомубессмысленно, не отягощено нюансами. ...Всё это не к тому говорится, что внежном возрасте я страдал от своего еврейства; просто моя первая ложь быласвязана с определением моей личности.

...Подлинная история вашего сознания начинается с первой лжи. Свою я помню. Это было в школьной библиотеке, где мне полагалось заполнитьчитательскую карточку. Пятый пункт был, разумеется, "национальность". Семи лет от роду, я отлично знал, что я еврей,но сказал библиотекарше,что незнаю. Подозрительно оживившись, она предложила мне сходить домой и спросить у родителей. В эту библиотеку я больше не вернулся, хотя стал читателемммногих других, где были такие же карточки. Я не стыдился того, что я еврей, и не боялся сознаться в этом....Я стыдился самого слова "еврей", независимо от нюансов его содержания.

...В школе быть "евреем" означало постоянную готовность защищаться. Меня называли "жидом". Я лез с кулаками. Я довольно болезненно реагировал на подобные "шутки", воспринимая их как личное оскорбление. Они меня задевали, потому что я еврей. Теперь я не нахожу в том ничего оскорбительного, но понимание этого пришло позже.

Да простятся мне столь длинные цитаты, но они для того, чтобы вызвать некоторое недоумение. Что за «еврейские» штучки! Слово «еврей» одно, еврей Бродский – нечто другое.

В редких интервью не возникали вопросы о еврействе Бродского, его отношении к национальным корням, к истории предков и их вере. Тем более, что в стихах Бродский практически не касался этих вопросов. Упоминаются в этом контексте обычно два произведения Бродского:«Еврейское кладбище около Ленинграда» и «Исаак и Авраам». Первое было написано Бродским в 18-летнем возрасте. Вот что он сам о нём сказал:

...Серьезное стихотворение, потому что это кладбище. В общем, это место довольно трагическое, оно впечатлило меня, и я написал стихотворение… на этом кладбище похоронены мои бабушка с дедушкой, мои тётки и т. д. Помню, я гулял там и размышлял, в основном, об их судьбе в контексте того, как и где они жили и умерли.

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для меня здесь ключевая строчка – Кривой забор из гнилой фанеры. Не просто забвение, а наплевательское, даже больше, глумливое отношение ко всем, кто здесь лежит, кто

…в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.
Может, видели больше.
А, возможно, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.

Да, терпимости и упорству учили нас родители, сами прошедшие горнило испытаний да так и не нашедшие успокоения при жизни,

…они обретали его
В виде распада материи.
Ничего не помня.
Ничего не забывая.

В этом парадоксе ***«не помня – не забывая»*** уже чувствуется почерк будущего поэта.

Будучи на пять лет старше, в 23 года, Бродский написал поэму «Исаак и Авраам». К этому времени он познакомился с Библией, но поэмой откликнулся только на историю с жертвоприношением Исаака. Много позже на вопрос в одном из интервью: « Как по-вашему, жертвоприношение вообще целенаправленно? – Бродский ответит:

Только не для меня. Все зависит от целостности вашей личности. В этом заключается смысл истории Исаака и Авраама. В ней мне было интересно (если я правильно помню, столько лет прошло), мне было интересно не то, что…(здесь не моё многоточие, а пауза Бродского, ищущего ответ). Сама по себе идея проверки на вшивость мне была не по душе, она идет вразрез с моими принципами. Если Он всевидящ, к чему проверки? Мне просто нравилась сама история, не ахти какая по смыслу и всё-таки великая. Может быть, потому, что в ней было что-то от литературы абсурда.

Вот-те раз! Не просто литература, а ещё и абсурда. А каково обозвать богову затею проверкой на вшивость? Это уж Вы совсем, Иосиф Александрович. И почему Вам в голову не пришла простая мысль, что Богу было важно знать, готовы ли мы пожертвовать во Имя Божье своими детьми? Есть и более прозаический взгляд на эту историю – прекратить человеческие жертвоприношения, кото-

рые ещё бытовали в ту пору.

В поэме «Исаак и Авраам» всё от начала до конца – это фантазии автора на заданную тему. Они не имеют никакого отношения к Библии, кроме названия и факта жертвоприношения.

ИСновА жертвА на огне Кричит:
Вот то, что "ИСААК" по-русски значит.

Подчёркнутые буквы образуют слово «Исаак». Их игра завораживает автора. Он обращает внимание на то, что еврейское «Исаак» стало русским «Исак»:

…По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излёте)
не ропщут против буквы вместо двух…

И Авраам утратил второе А, и в результате

…Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.

Разве имеет какое-то значение для поэта, что Исак-Исаак изначально Ицхак, а Авраам получил второе «А» от Бога, который тем самымизменил его судьбу, и Сарай, ставшая Сарой, родила ему сына. Бродскогобольше занимает игра с буквами, со словами. У него своё божество – Язык, диктующий ему строчки. В поэме много красивых образов и метафор, нони малейшегопредставления о месте драмы, об её подоплёке, о природе, на фоне которой она происходила.И в каменной иудейской пустыне, к примеру, возникают в поэме песчаные барханы. Поэту всё можно, но при чём тут Библия?

Есть, мне кажется, более глубокая причина, почему именно жертвоприношение Исаака стало темой поэмы. *«…Мне просто нравилась сама история…»,* но судьба четырёх поколений семьи от Авраама до Иосифа изобилует не менее потрясающими историями. Возможно, на подсознательном уровне поэт сам себя ощущал жертвой. Среда отторгала его, как инородное тело, убивала его. В истории с жертвоприношением поэт отразил собственную судьбу. О чём бы ни писал поэт, он всегда пишет о себе.

Почти десять лет спустя Бродский написал «Сретение» – новозаветную историю, посвящённую Анне Ахматовой. Вот что он сам сказал о ней в одном из интервью:

…Я также написал довольно неплохую вещь о Сретении. Знаете о таком празднике? Это о переходе от Старого Завета к Новому Завету. Это первое появление Христа в Библии, когда Мария при-

носит его в храм. А еще это о первой христианской смерти - святого Симеона. Мне кажется, хорошо получилось.

На 32-ой день после обрезания, сорока дней от роду Мария и Иосиф по традиции принесли первенца в Храм, где их встретили

…Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли…

Три человека. А где же Иосиф? Он отсутствует в стихе. Уверен, по одной-единственной причине. Он тёзка автора, поэтому стал бы очевидным побудительный мотив к написанию стиха – Иосиф и Анна, Бродский и Ахматова, которая пророчески предрекла «рыжему» карьеру.

Неразрывна связь новорожденного сына Божьего со Старым Заветом. ***…И слава Израиля в нём*** – говорит Симеон. И благодарный Господу за то, что сподобился увидеть лучезарного младенца, почтенный старец заканчивает своё существование во времени и уходит в небытие, ***…по пространству, лишённому тверди.***

Вечные категории Времени и Пространства постоянно волнуют поэта. Наша жизнь всего лишь точка в Пространстве и мгновение во Времени. Когда в одном интервью была упомянута известная фраза Маркса, Бродский отреагировал: *«Я её переделал на "небытие определяет сознание"*.

Для Бродского не столь важно, ветхозаветная история или евангельская, эллинская или римская. Всё это лишь фон для осознания, что есть Человек в этом бесконечном и вечном мире. Отвечая на вопрос о роли библейских сюжетов в поэзии, Бродский говорит:

…Самое неприятное во всём этом, когда человек пытается библейскому, в частности, евангельскому, сюжету навязать свою собственную драму. Т.е. нечто нарциссическое, эгоистическое в данном случае имеет место, да? Когда современный художник начинает выкручиваться, демонстрируя свою замечательную технику за счет этого сюжета, мне всегда неприятно. Тут вы сталкиваетесь с фактом, когда меньшее интерпретирует большее.

Может, Бродский себя и не имел в виду (*«мне всегда неприятно»*), но поэт всегда поэт, и что бы он ни писал, он присутствует сам в любом сюжете. А уж Бродский, так в максимальной степени.

Бродский многократно подчёркивал, что не исповедует никакую религию, не принадлежит ни одной конфессии. Тем не менее в

интервью постоянно возникали вопросы о его религиозных убеждениях.

Она: Каковы ваши религиозные убеждения?

Он: *Религиозные убеждения каждого человека - это его сугубо личное дело.*

Она: Именно поэтому я об этом и спросила…

Он: *Именно поэтому я ничего рассказывать не стану.*

В другом интервью на вопрос: вы человек религиозный, верующий? – Бродский отвечает: *«Я не знаю. Иногда да, иногда нет.»* Далее он соглашается, что он человек не церковный, не православный и не католик. «Может быть, – продолжает любопытствовать интервьюер, – какой-то вариант протестанства?» Следует ответ:

...Кальвинизм. Но вообще о таких вещах может говорить только человек, в чём-то сильно убеждённый. Я ни в чём сильно не убежден. В протестантстве тоже много такого, что мне в сильной степени не нравится. Почему я говорю о кальвинизме, не особо даже и всерьёз, потому что согласно кальвинистской доктрине человек отвечает сам перед собой за всё. Т.е. он сам до известной степени свой Страшный Суд. У меня нет сил простить самого себя. И с другой стороны, тот, кто мог бы меня простить, не вызывает во мне особенной приязни или уважения.

Вот оно как – и убеждений сильных нет, и отвечать надо самому за всё, и всепрощение не вызывает приязни. Как это всё сочетается друг с другом? А дальше ещё больше:

...у меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и всё. И… вот и всё. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и т.д. - я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, или лучше, как кот. Когда мне что-то нравится, я к этому принюхиваюсь и облизываюсь. Когда нет, то я немедленно… это самое… Главный орган чувств, которым я руководствуюсь, обоняние.

В другой раз на вопрос, можно ли сказать, что он стопроцентный безбожник, Бродский забыл, что он кот, и изложил своё кредо.

Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала. В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному. ...именно здесь вас ожидают откровения-на стыке рационального и иррационального. Все это вряд ли совмещается с какой-либо четкой, упорядоченной религиозной системой. Вообще я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Я придерживаюсь представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обусловленной воли.

На вопрос, о чём бы он хотел поговорить с теми, кого считает своими учителями, Бродский сказал: *«Много о чём. Прежде всего, это вас может удивить, о своеволии и непредсказуемости Бога…»*

Противоречивы высказывания Бродского о Ветхом и Новом Завете. Это ему не в укор. Истина всегда парадоксальна. Заслуживают и внимания и уважения высказывания ищущего человека, пытающегося не принять на веру, а понять, в согласии или несогласии догматы веры находятся с тем Богом, которого он чувствует в себе самом.

...И начинаешь ощущать,что разнообразные формы религиозных доктрин (даже чрезвычайно тебе близкие) оказываются неудовлетворительными. Они не отражают твоего внутреннего метафизического ощущения.Это особенно часто происходит с поэтами. Я не знаю, происходит ли это со мной, но, видимо, и со мной тоже.

Эта неуверенность, сомнение в собственных оценках постоянно звучит практически во всех интервью, данных Бродским. *«Я люблю доводить вещи до алогичного, до абсурдного конца»*, – признаётся он.

...Наверное, я христианин, но не в том смысле, что католик или православный. Я христианин, потому что я не варвар. Некоторые вещи в христианстве мне нравятся. Да, в сущности, многое.

Тут же на просьбу пояснить, что он имеет в виду, Бродский продолжает:

Мне нравится Ветхий Завет, ему я отдаю предпочтение, поскольку книга эта по своему духу более возвышенна и… менее всепрощающа. Мне нравится в Ветхом Завете мысль о правосудии, не о конкретном правосудии, а о Божьем, и то, что там постоянно говорится о личной ответственности. Он отвергает все те оправдания, которые даёт людям Евангелие.

– Значит, – не унимается спрашивающий, – вам нравится сочетание правосудия из Ветхого Завета и сострадания и всепрощения из Нового?

В Евангелии мне нравится то, что развивает идеологию Ветхого Завета. Вот почему я написал стихотворение о переходном этапе между этими двумя книгами (имеется в виду «Сретение»). *К примеру, мне нравится в Новом Завете замечание Христа, страдающего в саду, когда он говорит, что он делает то, о чём говорится в Писании.*

В другом интервью о сосуществовании двух Заветов сказано ещё более определённо:

Люди на Западе не могут должным образом принять то, что в

России христианство и иудаизм не настолько разделены. В России мы рассматриваем Новый Завет как развитие Старого. В каком-то смысле мы скорее изучаем оба Завета, а не поклоняемся им...(Кто это «мы», неужели весь российский народ? Бродский чуть помедлил, не погорячился ли он с этим «мы», и закончил) *...по крайней мере, я.*

А вот просто заблуждение, приписывающее христианству то, что ему не принадлежит:

По сути, есть один критерий, который не отвергнет самый утончённый человек, вы должны относиться к себе подобным так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам. Это колоссальная мысль, данная нам христианством.

Эта мысль была высказана еврейским мудрецом Гилелем, когда странник попросил его объяснить суть иудаизма, пока тот будет стоять на одной ноге: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе».

На прямой вопрос о слухах, чтоБродский обратился в христианство, он резко ответил: «Это абсолютно бредовая чушь!»

Трудно объяснить отношение Бродского к синагогам. В отличие от церкви у него было полное неприятие, даже отторжение синагоги как места, где он может появиться.

Я был в синагоге только один раз, когда с группой приятелей зашёл туда по пьяному делу, потому что она оказалась рядом. Любопытства ради...Особого впечатления это на меня не произвело.

Об этом посещении вспоминает в книге о Бродском бывшая в этой группе приятелей Людмила Штерн. Иосиф кипел по поводу условностей. Мужчин заставили надеть на головы завязанные на концах узелками носовые платки, затем девушек не пустили в основной зал, а попросили подняться наверх. Службы не было, смотреть и слушать было нечего, и минут через десять они ушли.

Далее Людмила вспоминает, что её муж уже в Америке стал ортодоксальным евреем и несколько раз звал Иосифа пойти с ним на службу хотя бы в Йом-Кипур, Судный день, день искупления грехов и Высшего суда, когда многие, даже нерелигиозные евреи приходят в синагогу послушать Кол Нидрей – еврейскую молитву всепрощения. «Бродский, – пишет Людмила, – пожимал плечами и говорил, что ему неинтересно и не надо: «Я, Витя, со своим ощущением Божественного ближе к Богу, чем любой ортодокс».

Удивительна и другая история, рассказанная Людмилой Штерн, которая позволяет говорить об отторжении. Весной 1995 года

Людмила уговорила Бродского поехать с выступлениями по Америке. В некоторых городах были арендованы залы в синагогах. Многие синагоги в Америке сдают свои залы для светских мероприятий. Увидев список снятых залов, Бродский резко сказал: «Никаких синагог, пожалуйста. В синагогах я выступать не буду». Уговорить его не удалось. Устроители потеряли довольно много денег.

Загадочным (это определение Людмилы Штерн, знавшей Бродского с младых ногтей) было и отношение Бродского к Израилю.Его не единожды приглашал Иерусалимский университет для чтения лекций и выступлений с вечерами. Ему предлагалось турне по шести израильским городам на великолепных условиях. Он даже не желал это обсуждать, каждый раз просто отшучиваясь.

Понимаю, что не всё можно объяснить, но не исключено, что Бродский даже в малейшей степени не хотел, боялся, что его присутствие в синагоге, даже не на службе, а на встрече с читателями, или, тем более, в Израиле, даст повод говорить о его особости, о его еврействе. Ему важно было оставаться человеком мира. Даже близкие друзья не могли его уговорить, что быть евреем и быть человеком мира – совсем не взаимоисключающие понятия.

– Какое значение для вас имеет факт, что вы еврей? Идентифицируетесь ли вы каким-то образом с этим наследством, с этой традицией? – спрашивают Бродского, и он отвечает:

– *Я абсолютный, стопроцентный еврей, т.е. на мой взгляд, быть больше евреем, чем я, нельзя. И мать, и отец, и т.д, и т.д. ...Я думаю, что человек должен спрашивать самого себя прежде всего о том, честен ли он, смел, не лгун ли он - да? И только потом определять себя в категориях расы, национальности, принадлежности к той или иной вере. Если уж говорить, еврей я или не еврей, думаю, что, быть может, я даже в большей степени еврей, чем те, кто соблюдает все обряды. Я считаю, что взял из иудаизма - впрочем, не столько считаю, сколько это просто существует во мне каким-то естественным образом - представление о Всемогущем как существе совершенно своевольном. Бог - своевольное существо в том смысле, что с ним нельзя вступать ни в какие практические отношения, ни в какие сделки.*

В одном интервью стопроцентный еврей, а в другом:

...Я, в сущности, до конца не осознавал себя евреем. ...Если вы живете в контексте тотального атеизма, не столь уж важно, кто вы - еврей, христианин или не знаю, кто ещё. В каком-то смыс-

ле мне это помогало забыть свои исторические и этнические корни...

Следующее интервью, и опять возвращение к своей стопроцентности:

...С течением лет я чувствую себя куда большим евреем, чем те люди, которые уезжают в Израиль или ходят в синагоги. Происходит это оттого, что у меня очень развито чувство высшей справедливости. И то, чем я занимаюсь по профессии, есть своего рода акт проверки, но только на бумаге. Стихи очень часто уводят туда, где ты не предполагал оказаться. Так что в этом смысле моя причастность… не столько, может быть, к этносу, сколько к его духовному субпродукту, если хотите, поскольку то, что касается идеи высшей справедливости в иудаизме, довольно крепко привязано к тому, чем я занимаюсь. Более того, природа этого ремесла в каком-то смысле делает тебя евреем, еврейство становится следствием. Все поэты по большому счёту находятся в позиции изоляции в своём обществе.

Тут Бродского и спросили, как он относится к строчке Цветаевой: "Все поэты - жиды…"

...Именно поэтому она так сказала. Ремесло обязывает. Или ты просто плохой ремесленник. ...Их ситуации не позавидуешь. Они изгнанники. Они не нужны. Отчуждённые... Русская литература изрядно проперчена еврейским присутствием. Как минимум пятьдесят процентов из тех, кто в этом веке считал себя поэтом, были евреями. ...Говоря коротко, это происходит оттого, что мы народ Книги. У нас это, так сказать, генетически. На вопрос о том, почему евреи такие умные, я всегда говорил: это потому, что у них в генах заложено читать справа налево. А когда ты вырастаешь и оказываешься в обществе, где читают слева направо… И вот каждый раз, когда ты читаешь, ты подсознательно пытаешься вывернуть строку наизнанку и проверить, всё ли там верно.

Как это блестяще, ёмко и исчерпывающе подмечено! Но вот новое интервью, и на вопрос о самоидентификации Бродский отвечает несколько иначе:

Я... всегда старался, возможно самонадеянно, определить себя жёстче, чем то допускают понятия "раса" или "национальность". Говоря иначе, из меня плохой еврей. Надеюсь, что и плохой русский. Вряд ли я хороший американец. Самое большее, что я могу о себе сказать: я есть я, я писатель.

Я есть Я! Вам это ничего не напоминает?

Откуда этот клубок противоречий и парадоксов, самоуверенности и сомнений, глубочайших мыслей и непонятных глупостей, широких знаний и не менее широких незнаний – и всё это по имени Иосиф Бродский? Самый простой ответ – таким мама родила. Каким же?

В четыре года мать научила его читать. Казалось бы, замечательный и смышлёный мальчик.Но в школе возникли серьёзные проблемы. *«Из всех эмоций, переполнявших меня, я помню только отвращение к себе за то, что я слишком молод и многому позволяю управлять собой»*. Мальчика заставляли делать то, что было для него совершенно чужеродным, что он просто не мог воспринимать. Физика и химия явились непреодолимыми препятствиями. Детский протест выражался плохим поведением. *«...Меня в пятом или шестом классе несколько раз пытались исключить из школы за поведение»*. Когда он остался в седьмом классе на второй год, ег перевели в другую школу.

В общем, я учился в семи или шести школах до восьмого класса, из которого я просто сбежал, во-первых, потому что мне всё это уже осточертело, а во-вторых, в семье не очень благополучно было с деньгами, даже крайне неблагополучно: мать работала, отец работал, и этого едва хватало. И я пошел на завод, когда мне было пятнадцать лет, и стал работать фрезеровщиком. Сначала был три месяца учеником, потом получил разряд и работал около года. После этого начались другие пассажи: я поступил работать в морг, потому что у меня была такая амбиция - стать нейрохирургом. После начал ездить в геологические экспедиции, чтобы путешествовать. Несколько лет так прошло, а после этого, я уже не помню, работал фотографом, кочегаром, матросом,...смотрителем маяка.

После возвращения из ссылки в 1965 году Бродского, который генетически не мог приобщиться к коллективному сознанию, дважды помещают в психиатрическую больницу. Он вспоминает:

Это было самое ужасное из того, что мне довелось пережить. Действительно, ничего нет хуже. Они добиваются многого – публичного покаяния, перемены в поведении. Они вытаскивают тебя среди ночи из постели, заворачивают в простыню и погружают в холодную воду. Они пичкают тебя инъекциями, используя всевозможные подтачивающие здоровье средства.

– Вы ненавидели людей, которые проделывали с вами такое? – спрашивают его.

– *Не то чтобы. Я знал, что они хозяева, а я это просто я. Люди,*

которые делают скверные вещи, заслуживают жалости. Понимаете, я был молодым и довольно легкомысленным. В то время у меня был первый и последний в моей жизни серьёзный треугольник. Обычное дело, двое мужчин и женщина, и потому голова моя была занята главным образом этим. То, что происходит в голове, беспокоит гораздо больше, чем то, что происходит с телом.

Не ненависть к мучителям, а жалость, как у того, который всех простил, «ибо не ведают, что творят». Правда, это Бродский говорит уже в Америке, где он, наконец, обрёл право быть личностью, где он, по его признанию, жил, ещё находясь в Советском Союзе.

Поэт Бродский сказал про себя:

У тебя, что касается тебя самого, есть только две вещи: твоя жизнь и твоя поэзия. Из этих двух приходится выбирать. Что-то одно ты делаешь серьёзно, а в другом ты только делаешь вид, что работаешь серьёзно. Нельзя с успехом выступать одновременно в двух шоу. В одном из них приходится халтурить. Я предпочитаю халтурить в жизни.

Улыбнёмся самоиронии поэта по поводу халтуры в жизни. Но жизнь это жизнь, а поэзия – божество, которое нашло в Иосифе Бродском своего ярчайшего проповедника.

Юрий Солодкин *родился в Новосибирске. Доктор наук, профессор. В США 14 лет, работает по специальности. Многие годы его любимое занятие – задавать интересные вопросы и искать интересные ответы, умещая и то, и другое в четыре поэтические строки. Выпустил несколько книг таких миниатюр, включая "Библейские поэмы" – на бессмертные сюжеты Ветхого Завета.*

Постоянный автор журнала "Время и место".

СТИВ ЛЕВИН

МЕРИ – СЕСТРА БАБЕЛЯ

Известно, как неохотно отдавал Бабель в печать новые произведения. «Есть литераторы с гладкой судьбой, есть литераторы с трудной судьбой (правда, есть и третьи – безо всякой судьбы). Я принадлежу ко вторым…» – так писал Бабель13 декабря 1930 года В.П. Полонскому, объясняя очередную отсрочку с публикацией обещанных редакции «Нового мира» рассказов.

Взыскательный художник, Бабель работал над рукописью, добиваясь максимального совершенства. «Когда я пишу самый маленький рассказ, – говорил он К.Г. Паустовскому, – то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть Эверест. <…> Я работаю как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело» А в результате из-под его пера выходила, по выражению Паустовского, «литая проза», поражавшая современников и потомков.

Но эта особенность его работы – он писал медленно, тщательно отделывая каждую фразу, каждое слово, – обрекала его на длительные периоды молчания (в своем выступлении на Первом всесоюзном съезде советских писателей он назвал себя «великим мастером этого жанра») и делала «неудобным» для редакторов и издателей. От него требовали немедленного предоставления обещанных рукописей и грозили судом за невозвращенные авансы. «Вы можете посадить меня в узилище, как злостного должника, – писал он тому же Полонскому, – (взять, как известно, нечего: нету ни квартиры, ни угла, ни движимого имущества, ни недвижимого, чем я, впрочем, горд и чему рад). Вы можете сечь меня розгами в 4 часа дня на Мясницкой улице – я не сдам рукописи ранее того дня, когда сочту, что она готова» (8 октября 1929 года).

Но писать так, как будто, как он сам образно заметил в одном из писем, у него «в каждом кармане по Ясной Поляне», Бабель не мог

– на его содержании были «иждивенцы». После смерти отца, Эммануила Исааковича Бабеля (Бобеля) (он умер 2 марта 1924 года), Исаак Эммануилович перевез из Одессы в Москву, в Сергиев Посад, свою мать, Фаню (Фейгу) Ароновну, и сестру Мери. В ноябре 1924 года Мери (Мэри, Мера, Мария) уехала в Бельгию к своему жениху, доктору Григорию Шапошникову. Молодые поселились сначала в Льеже, а потом в Брюсселе. В июле 1926 года к ним присоединилась мать, Фаня Ароновна. Жена писателя, Евгения Борисовна Бабель (урожденная Гронфайн), художница, в декабре 1925 года уехала из СССР и обосновалась в Париже. Всем им Бабель помогал материально (сестра и мать часто болели). Вплоть до самого своего ареста, вел интенсивную переписку с матерью и сестрой, делясь с ними своими сокровенными мыслями и сообщая о своих творческих удачах и неудачах. Эти письма были изданы в 1950 – 60-е гг. на Западе, но, к сожалению, только в переводах на итальянский, английский и французский языки. По-русски напечатаны лишь отдельные отрывки, а оригиналы этих писем до сих пор недоступны. Но забота о матери и сестре, постоянная тревога об их здоровье – тема многих его писем, адресованных и ближайшим друзьям – Исааку Леопольдовичу Лившицу и Анне Григорьевне Слоним.

Личная и семейная жизнь Бабеля складывалась очень непросто. Отношения с Евгенией Борисовной разладились, видимо, еще до ее отъезда, одной из причин которого была его связь с Тамарой Владимировной Кашириной, в то время актрисой театра-студии Вс. Э. Мейерхольда. Связь эта продолжалась почти два года. Первый ребенок Бабеля, Михаил (Эммануил), родился 13 июля 1926 года в Москве. Но после их разрыва мальчик был усыновлен писателем Всеволодом Ивановым, за которого в 1929 году Тамара Владимировна вышла замуж. Иванов дал Михаилу свою фамилию. Тем не менее, пока была возможность, Бабель заботился о сыне и его матери, материально поддерживал их.

Отношения с Евгенией Борисовной возобновились в 1927 – 1928 годах, когда Бабель жил во Франции. В июле 1929 года у них родилась дочь Наталья. Правда, впервые он увидел свою дочь уже в трехлетнем возрасте, когда приехал в Париж во второй раз, зато провел с ней почти год. Но и находясь на расстоянии, он посылал ей подарки, следил за ее развитием.

Последний раз Бабель был в Париже летом 1935 года. Он приехал туда вместе с Борисом Пастернаком для участия в антифашистском конгрессе писателей. Но с тех пор выезд за рубеж был

для него закрыт, и он больше не виделся ни с дочкой, ни с матерью и сестрой.

Летом 1932 года Бабель познакомился с молодой женщиной, инженером Антониной Николаевной Пирожковой, которая стала спутницей последних семи лет его жизни. В январе 1937 года у них родилась дочь Лидия.

(О своей жизни с Бабелем и о себе Антонина Николаевна рассказала в мемуарах, наиболее полное издание которых вышло недавно.

Антонина Пирожкова. Я пытаюсь восстановить черты. Воспоминания. Москва. АСТ. 2013)

Бабель был очень совестливым человеком и во всех неустройствах своей семейной жизни винил только себя (достаточно прочитать его письма к Т.В. Кашириной). Но при этом он был верен главной своей цели – писательскому труду, творческому призванию. Его не могли сбить с пути ни жизненные неудачи, ни видимое «неблагополучие литературной <…> биографии», о чем он писал своей матери из Москвы 14 декабря 1930 года, опровергая «страхи близоруких моих поклонников»: «Я сделан из теста, замешенного на упрямстве и терпении, – и когда эти два качества напрягаются до высшей степени, тогда только я чувствую la joie de vivre (Радость жизни (*фр.*)), что имеет место и теперь. А для чего же живем, в конечном счете? Для наслаждения, понимаемого в широком смысле, для утверждения чувства собственной гордости и достоинства».

В письмах Бабеля родным и друзьям прослеживается та «могучая страсть семейственности», идущая из глубины истории еврейского народа, которую так ясно почувствовал герой его неоконченной повести «Еврейка» (конец 1920-х годов) Борис Эрлих:

«На тридцатом году жизни, повинуясь древним этим велениям, он ощутил себя отцом, и мужем, и братом – защитником женщин, их кормильцем, их опорой – и ощутил это со страстью, с мучительным и упрямым сжатием сердца, свойственным его народу».

Бабель, по-видимому, постоянно испытывал это чувство. И направлено оно было у него главным образом на ту семью (мать, сестру, первую жену), которую он фактически потерял уже в середине 1920-х годов.

Американский исследователь Григорий Фрейдин, посвятивший специальную статью вопросу о возвращении Бабеля в Советский Союз, обращает внимание на следующее обстоятельство: «… Бабель, находясь за границей, отказывается от ухода в эмиграцию и троекратно возвращается в СССР. Более того, с конца 1920-х годов

чуть ли не вплоть до самого его ареста 15 мая 1939 г. Бабель, если верить письмам писателя и другим документальным свидетельствам, не теряет надежды на возвращение в СССР матери, сестры с мужем (Шапошниковым) и жены с дочерью (Евгении Гронфайн и Натали Бабель)»

Фрейдин Гр. Вопрос возвращения II: «Великий перелом» и Запад в биографии И.Э. Бабеля начала 1930-х годов. Стэнфордский университет, 1991).

И дело здесь, на наш взгляд, не в якобы советском патриотизме Бабеля, как полагали некоторые, в том числе дочь писателя Наталья, а именно в той «могучей страсти семейственности», в стремлении обустроить собственный Дом, о чем шла речь выше.

Истоки этой страсти – в семейных традициях Бабелей (Бобелей). В этой семье Исаак (Ися) был в центре внимания. Отец, определивший его в Коммерческое училище, видел в нем своего наследника и помощника, привлекал его к своим коммерческим делам. По воспоминаниям друга и соученика Бабеля по училищу Исаака Леопольдовича Лившица, «отец буквально боготворил сына. В разговорах со знакомыми любил с гордостью сказать: «Вы знаете Горького? Мой Изя (Родные и друзья называли Исаака Бабеля именно Исей, а не Изей. – С.Л.) и Горький – во!» Если ему кто-то нравился, старик говорил об этом человеке: «тип красоты моего Изи»

(Поварцов С. Быть Бабелем. Краснодар, 2012. С. 19.).

«Мать, – вспоминает сестра Бабеля Мери, – тихая, добрая женщина, умела смешно копировать людей и отличалась проницательностью. Это свойство Бабель унаследовал от нее» (Там же. С. 17.). Отношения Бабеля с матерью были необыкновенно трогательными. Жена И.Л. Лившица, Людмила Николаевна, вспоминает: «Надо было видеть, с какой грубоватой нежностью он “играл” со своей матерью. “Полковник” звал он маленькую Фаню Ароновну. Он хватал ее, усаживал к себе на колени или сам усаживался к ней» **(Бабель И. Письма к другу: Из архива И.Л. Лившица / Сост. и коммент. Погорельской Е.И. М., 2007. С. 107).**

Бабель был третьим ребенком в семье: его старшие брат и сестра – Арон и Анна (Хана Гитель) умерли детьми. В младенчестве умерла, как теперь установлено, и младшая его сестра Ида[1].

[1]*См.: Погорельская Е. Исаак Бабель и история его голубятни. Факты и вымысел // Лехаим. 2012. № 10. С. 40-45; она же. Комментарий к рассказу И. Бабеля «История моей голубятни». Новые материалы к биографии писателя // Вопросы литературы. 2013. № 5. С. 149-163.*

До взрослых лет дожила лишь младшая сестра Мери (в замужестве Шапошникова, 1897 – 1987). Со старшим на три года братом (Бабель родился 30 июня по старому или 12 июля по новому стилю 1894 года) у нее всегда сохранялись доверительные, дружеские и очень теплые отношения. Мы видим их детьми на фотографиях вместе с отцом и бабушкой (матерью отца) Миндлей Ароновной.

К.Г. Паустовский познакомился с семейной обстановкой Бабеля после его возвращения из Конармии, когда они снимали дачи по соседству на окраине Одессы. Об этом Паустовский рассказал в повести «Бросок на Юг» (1959 – 1960) и очерке «Несколько слов о Бабеле» (1966). «На девятой станции [Большого Фонтана] я снял на лето веранду на заколоченной даче. Рядом, через дорогу, жил Бабель с женой – рыжеволосой красавицей Евгенией Борисовной – и сестрой Мэри. Сестру эту ласково звали Мэрочкой.

Мэрочка “до невозможности”, как говорят в Одессе, была похожа на брата и безропотно выполняла все его поручения.

<…> Слава шла об руку с ним. В наших глазах он уже стал литературным мэтром, и к тому же непререкаемым и насмешливым мудрецом».

И в дальнейшем, рассказывает Паустовский, когда Бабель жил под Москвой, в Загорске, Мери выполняла при нем обязанности секретаря и помощника: «Адрес свой он (Бабель) никому не давал. Увидеть его можно было только после сложных переговоров с Мэри».

В начале 1920-х годов, вплоть до отъезда Мери за границу, Бабель опекал сестру, заботился о ее здоровье и будущем. Интересный материал об этом дает неопубликованная переписка Мери с ее подругой Л.Н. Лившиц, хранящаяся в Отделе рукописных фондов Государственного литературного музея в Москве (выражаю искреннюю признательность хранителю фондов музея Е.И. Погорельской за возможность ознакомиться с содержанием этих писем).

В августе 1922 года Бабель с женой отдыхали под Батумом на Зеленом Мысе. К ним из Одессы приехала Мери. В письме к Л.Н. Лившиц от 11 августа 1922 года Мери сообщает: «В Батуме Ися меня встретил – выглядит он хорошо и чувствует себя неплохо. Женя то же самое, хотя к моему приезду у нее на руках было несколько нарывов – неизвестно отчего. Теперь все почти прошло. Живем мы тихо, очень спокойно и для меня даже слишком».

А в следующем письме, от 19 сентября, говорится об их дальнейших планах – ее и брата с женой: «В конце этой недели Женя уезжает в Одессу и Киев для окончательного решения всех наших судеб.

Ися и я переезжаем в Сухум, куда через месяц или полтора вернется и Женя. Тогда будет окончательно решено, двинемся ли мы на запад или останемся здесь. Что касается меня, то возникло сильное желание поехать учиться в Москву».

То есть Бабель и Евгения Борисовна планировали поездку за границу, а Мери – в Москву. Заграничная поездка не состоялась, а мечта Мери о Москве, как увидим, с помощью брата, в конце концов осуществилась.

«Семейное чувство» крепко связывало Бабеля и его сестру с родителями. Она пишет своей подруге Л.Н. Лившиц из Батуми 11 августа 1922 года: «… не перестает волновать меня жизнь родителей. Мне слишком спокойно в сравнении с ними».

Первоначально она хотела прямо с Кавказа ехать в Москву, но потом, пишет она уже из Одессы (Л.Н. Лившиц 26 декабря 1922 года), «мы (Мери и Евгения Борисовна – *С.Л.*) решили, что ехать прямо в Москву из Сухума нельзя, а нужно ехать через Одессу, так как родители умоляли приехать хоть на несколько дней повидаться с ними и немножко обмундироваться». И дальше: «Тяжело мне будет снова оставить стариков, тоскуют они ужасно и живут не лучше, чем в прошлом году».

О планах брата и его жены в том же письме: «Женю и Исю я оставила в Сухуми, пробудут они там недели 2 и поедут, вероятно, за границу до весны, весною в Одессу и только осенью в Москву или Петроград. Исе стоит больших усилий держаться на Кавказе, его уже тоже тянет в большой город, но в связи с работой (Бабель работал тогда корреспондентом тифлисской газеты «Заря Востока». – *С.Л.*) раньше осени ему нет смысла ехать на север».

В Одессе Мери пришлось задержаться более чем на полгода: «… я около месяца пролежала в постели, у меня был грипп, который перешел в основательное воспаление легких» (из письма к Л.Н. Лившиц из Одессы 20 июня 1923 года), не с кем было оставить родителей. Она, тем не менее, готовилась к переезду в Москву: усиленно занималась английским, имея в виду будущую службу в столице. В доме уже все были настроены на ее отъезд («Главное – дома у нас все хотят, чтобы я уехала» (из письма к Л.Н. Лившиц из Одессы 20 июня 1923 года). Как она пишет тому же адресату 23 февраля 1923 года, «теперь мне это удастся, потому что дома Ися и Женя».

Но пребывание Мери в Москве было недолгим, и, как уже было сказано, в конце 1924-го она оказалась в Бельгии. Мери была счастлива. «У меня очаровательное “quartier”, т.е. 2 комнаты, – писала она Л.Н. Лившиц 21 декабря 1924 года из Льежа, – купила себе немножко хозяйства и к этому очаровательный передник и изобра-

жаю хозяйку. С Гришей отношения самые лучезарные, если так можно сказать. Не знаю, до каких пределов дойдет его влюбленность, человек он просто очаровательный – это беспристрастно. Очень изменился внешне со времени моего приезда, поправился и ходит на голове. В Льеже пользуется большой популярностью и считается лучшим студентом. <…> В субботу, в день нашей свадьбы (свадьба М. Бабель и Г. Шапошникова состоялась 27 декабря 1924 года. – *С.Л.*), студенческий вечер».

Ко времени приезда в Бельгию Мария Эммануиловна имела достаточно серьезный образовательный багаж. По сведениям Андрея Малаева-Бабеля, внука писателя, в 1915 году она поступила на физико-математический факультет естественного отделения Одесских Высших женских курсов и проучилась там три года (до 1918). В 1918 году она поступила на Естественное отделение Физико-математического факультета Новороссийского университета и проучилась на нем три года, осенью 1921-го перешла на Медицинский факультет. На этом факультете она проучилась еще год – до весны 1922-го. Неизвестно, закончила ли она Новороссийский университет – диплома ее не обнаружено, есть только зачетные книжки. Судя по количеству лет, проведенных в университете, вероятно, закончила. Но, выйдя замуж, она в Бельгии не работала: часто болела, да и муж ее вполне обеспечивал.

Встретились они с братом снова только через три года, когда в 1927-1928 годах Бабель жил в Париже. Он навещал мать и сестру в Бельгии. Они приезжали к нему в Париж. А в августе 1928-го они все вместе – мама, Бабель с Евгенией Борисовной и чета Шапошниковых – отдыхали неподалеку от знаменитого курорта Остенде.

30 сентября 1927 года Мери пишет Л.Н. Лившиц: «Живем мы втроем тихо, хорошо. Характеры Гриши и мамы очень похожи. Гриша много работает, зарабатывает прилично.

Здоровье мое восстанавливается. Июль мы провели в деревне в Арденнах. Делали много хороших прогулок. Здесь много красивых мест.

Исю мы видели 20 минут на Льежском вокзале. Внешне он изменился страшно – вдвое пополнел, и я нахожу, что ему страшно нехорошо быть таким толстым. Что касается его душевных качеств, то ничего сказать не могу. После трех лет – 20 минут время короткое. Кроме того, жизнь сделала то, что мы теперь далеки друг от друга. Если будет возможность, поеду в Париж. Мама собирается туда скоро».

Но тяга к семейному общению оставалась. 6 августа 1928 года Бабель пишет Т.В. Кашириной (Ивановой) из Панна: «Я гощу теперь у сестры и матери, невесело здесь. Сестра очень больна, хронически, мать от этого всегда грустна; муж у сестры тишайший человек, но тоже хилый, чуть дунешь – рассыплется. Пробуду с ними до 15-го, потом поеду в Брюссель и 25/VIII рассчитываю быть в Париже».

Трудно сказать, встречался ли Бабель с сестрой в следующий свой приезд во Францию в 1932 – 1933 годах. Во всяком случае, как видно из его письма А.Г. Слоним из Парижа 8 февраля 1933 года, мать навестила его и его семью, но неудачно: «… тогда нас посетил "всеобщий грипп". Хворала Евгения Борисовна, хворал отпрыск (Наталья. – *С.Л.*), от отпрыска заразилась моя мать (приехавшая в гости из Брюсселя) – пролежала десять дней, и венец всего как последствие гриппа с ней случился страшный сердечный припадок. Неделю я не ложился и жил в тревоге. Теперь дело пошло на поправку».

Вернувшись в СССР, он не оставляет заботы о сестре и матери. Так, например, Мери сообщает Л.Н. Лившиц 7 сентября 1933 года: «От Иси сегодня получила ответ, он, вероятно, уже в Москве. Обещал выслать сейчас же по приезде деньги».

Через письма Бабеля матери и сестре красной нитью проходит мысль о возможности и необходимости воссоединения с семьей (имеются в виду, конечно, и Евгения Борисовна с Наташей) в СССР.

Особенно интенсивными становятся мысли и усилия по возвращению своих близких в начале 1930-х годов, когда Бабель, после долгого молчания, публикует свои новые рассказы («Конец богадельни», «Дорога», «В подвале», «Пробуждение», «Гапа Гужва» и др.).

26 мая 1930 года он пишет М.Э. Шапошниковой: «За последние годы я пассивно только принимал участие в вашей жизни – но вот теперь собираюсь железной рукой прекратить эту мерехлюндию… Люди стареют, люди хворают – таков ход вещей, но зачем ладонями заслонять от себя солнце… И тебя и маму я прошу исключить из сферы беспокойства меня и все, что со мною связано. *У нас и дом будет, и покой, и работа – и все мы вместе будем – все это сделается* – нечего издавать тут сопли и вопли – сопли на вопли… Я тебе верно говорю, что никогда не чувствовал себя в таком ударе, как сейчас, никогда так твердо не стоял на ногах…» (курсив мой. – *С.Л.*)[2].

[2]*Письма Бабеля приводятся по изд.: Бабель И. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. М., Время, 2006.*

В письме матери из Молодёново 14 октября 1931 года, сообщая о публикации новых своих рассказов в «Молодой гвардии» и «Новом мире», Бабель пишет: «Фенюшка, взялся за гуж – не говори, что не дюж; отступать теперь некуда, надо гнуть линию… Родным моим, да и мне самому, тяжко приходится от этой линии, но я знаю, что скоро замолю свои грехи перед вами. Как видите, началось последнее действие драмы или комедии – не знаю, как сказать… Не толкайте меня, mes enfants (Мои дети (*фр.*), под руку, – если бы вы знали, до чего нужны твердость и спокойствие этой руке».

Надеясь, что новый «залп» рассказов станет материальной основой для возвращения семьи, Бабель предпринимает конкретные шаги по устройству будущего семейного пристанища. 19 января 1930 года он подает заявление в Жилищную комиссию ФОСП (Федерация объединений советских писателей):

«У меня нет жилой площади. Семья моя состоит из жены, ребенка и старухи-матери. Они живут в Париже и вернутся в Москву летом нынешнего года. Последние полтора года я прожил в сельских местностях и заводских поселках, переезжая с места на место. В Москве я остановился у приятелей. Ввиду того, что Москва явится местом постоянного моего (и моей семьи) жительства, прошу предоставить мне квартиру из трех комнат» (ОР ИМЛИ. Ф. 86. Оп.1. Ед. хр. 8.).

Квартиры он не получил, но в письмах родным продолжал настаивать на осуществлении своих планов. 4 декабря из Нальчика он пишет Ф.А. Бабель: «… Относительно свидания нашего я не разделяю твоего пессимизма. Теперь все соображения отпадают, кроме моей работы, от нее все зависит. Теперь ничем не дам сбить себя с пути, буду жить там, где мне это полезно для работы, *и трудиться без остановки, - это может обеспечить и свидание наше, и средства для него.* <…> Как я скучаю по фамилии – рассказывать тебе не надо. Трудно иногда приходится, *ищешь утешения в труде, в непреклонном желании это рассеяние прекратить раз и навсегда»* (курсив мой. – *С.Л.*).

В письмах к Мери из станицы Пришибской 13 и 19 декабря 1933 года Бабель сообщает, что закончил пьесу («Мария»): «В ближайшие дни перепишу ее и пошлю в Москву. <…> Спасибо за то, что препроводили Женино письмо. В смысле материальном единственное, чем я могу ей помочь – «продукцией». Усиленно работал над пьесой и закончил ее с главным расчетом на Женю. Постараюсь отослать поскорее, надеюсь, что она ей пригодится».

В новогодней открытке Мери, посланной 23 декабря 1933 года из Пришибской, он пишет: «…примите поздравление от родственни-

ка, который помнит о вас неустанно, куда бы ни забросил мятежный дух и во все минуты бытия его».

И продолжает настаивать на скором приезде «фамилии» на родину, рисуя благоприятную картину ее будущего жизнеустройства (он, по-видимому, искренне верил в это или старался убедить себя и их): «Я уже писал вам, что материальные условия улучшаются здесь у нас с поразительной быстротой, воспитать Наташу можно здесь неизмеримо лучше, чем во Франции, сидение там теряет всякий смысл. Наступает зима, и я не могу настаивать на немедленном переезде, но с января – февраля поведу настоящую кампанию. <…> Я считаю, что и маме пора повидаться с родиной, ее жизнь здесь можно оборудовать легчайшим образом, срок ее приезда предоставляю вашему решению, но я бы хотел повидаться с ней как можно скорее. <…> *Вообще я мечтаю о том, чтобы создать базу где-нибудь под Одессой»* (Из письма к М.Э. Шапошниковой, 14 ноября 1934 года, Москва).

Этим планам Бабеля не суждено было осуществиться: суровая правда советской действительности 30-х годов и обстоятельства его личной жизни (у него образовалась в СССР новая семья и родилась дочь) опрокинули эту мечту.

Тем не менее, Бабель сообщает матери и сестре 2 июня 1936 года из Москвы: «В течение июня я стану домо- и землевладельцем. В тридцати километрах от Москвы, в густом сосновом лесу выстроен комфортабельный дачный поселок – для меня там строится двухэтажный дом – со всеми удобствами, к нему примыкает полгектара леса».

Осенью 1936 г. он едет в Одессу и подыскивает там участок для своего будущего пристанища. 17 ноября 1936 года он писал Т.Н. Тэсс: «… Обошел и объехал весь город – лучше Мельниц нет; решил там обосноваться и предпринимаю официальные шаги».

Однако и эта мечта о спокойной старости под ласковым одесским солнцем не осуществилась.

Последнее свое письмо матери и сестре Бабель написал из Переделкино 10 мая 1939 года, за пять дней до своего ареста:

«Я уже обосновался за городом, – сообщал он, – и чувствую себя превосходно – надоело только печи топить. Завтра поеду на день в Москву. Думаю, не найду ли письма от Мери – как она съездила? Жаль, что мама не могла совершить с ней эту прогулку… Отправил Наташе несколько книг – внучку обеспечил, теперь надо подумать о бабушке, постараюсь достать завтра новой беллетристики. У меня ничего нет – в трудах; заканчиваю последнюю работу кинематографическую (это будет фильм о Горьком) и скоро приступаю к окончательной отделке заветного труда – рассчитываю

сдать его к осени (Что было этим «заветным трудом», приходится только гадать: весь архив Бабеля был конфискован НКВД и до сих пор не найден. – *С.Л.*). Пишите почаще, потому что длинных книг читать нет времени – и ваши послания – самое лучшее для меня чтение».

На этом переписка прервалась. Мать и сестра Бабеля могли только гадать о причинах его молчания. Мери пишет своей подруге Л.Н. Лившиц из Брюсселя 20 июля 1939 года: «Милая Люся, давно тебе не писала. Настроение очень плохое, мама все время болеет и *брат, видно, нездоров, так давно ничего не пишет»* (курсив мой. – *С.Л.*).

Истинную причину теперь уже вечного молчания брата Мери узнала, вероятно, только в «оттепельные» годы. По воспоминаниям А.Н. Пирожковой, в 1961 году она приезжала в Москву. В это же время там оказалась и первая дочь Бабеля Наталья, работавшая гидом на французской выставке картин. «Наташе, – вспоминает А.Н. Пирожкова, – было около 30 лет, она, закончив Сорбонну, преподавала курс французской литературы в Париже. Я нашла ее очаровательной, веселой, остроумной и назвала ее в душе своей старшей дочерью. Сестры же (Наташа и Лида. – *С.Л.*) подружились так, что готовы были все делать друг для друга.

Сестра Бабеля Мери, приехавшая в это время в Москву, чтобы повидаться с нами, очень удивилась такой дружбе Лиды и Наташи и говорила, что сказалось кровное родство»

(Пирожкова А. Я пытаюсь восстановить черты. Воспоминания. С. 532).

В сентябре 1975 года Мери вместе с мужем снова были в Москве и гостили в доме А.Н. Пирожковой на Азовской улице. Исследователь творчества Бабеля Сергей Поварцов взял у нее интервью. «Мери была приветлива и охотно рассказывала о брате, не скрывая, однако, что сохранила память о горечи утраты. Я старался, – пишет С. Поварцов, – своими расспросами пробудить в ней как можно больше семейных воспоминаний»

(Поварцов С. Быть Бабелем. С. 17).

Он сделал семейную фотографию, на которой улыбающаяся Мери и ее муж, Григорий Шапошников, на коленях у которого внук Бабеля Андрей, а рядом Антонина Николаевна и ее дочь Лида.

Подлинная причина смерти Бабеля – расстрел – и его следственное дело стали известны лишь в конце 80 – начале 90-х годов прошлого столетия[3]. Но Мери об этом не узнала – она умерла в 1987 году.

[3]*См.: Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. [М.], 1995; Поварцов С. Причина смерти – расстрел. Хроника последних дней Исаака Бабеля. М., 1996.*

P.S. Неожиданно обнаружился еще один отклик Мери на судьбу брата – ее воспоминания о нем. И где? В Израиле.

Как сообщил мне д-р Иегуда (Эрнст) Мендельсон, один из зачинателей алии 1970-х годов, активный борец за право советских евреев на эмиграцию в Израиль, в начале 1970-х годов Мери с мужем приезжали в Израиль, чтобы навестить могилу сестры Григория Шапошникова Ханы, жившей со своим мужем Яковом Шуром в кибуце «Ашдот-Яков», который находился вблизи границ с Сирией и Иорданией. Этот кибуц был организован выходцами из России. Доктор Мендельсон жил в этом кибуце и оказывал медицинскую помощь его жителям. Однажды Яков Шур пригласил его к себе и познакомил со своими гостями из Бельгии – врачом Григорием Шапошниковым и его женой Мери. «Интеллигентные, интересные, доброжелательные и жизнерадостные гости сразу же расположили нас к себе, – пишет И. Мендельсон. - И мы подружились не только в эти два визита, когда они приезжали в кибуц «Ашдот-Яаков», но и некоторое время вели дружескую переписку. К тому времени я приобрел портативный магнитофон «Сони», на который и записывал долгие и продолжительные беседы с Мери. Конечно же, основной темой наших разговоров бы Исаак Бабель, ее родной брат.

По ее рассказам, это был очень доброжелательный, жизнерадостный и оптимистический человек, любивший людей и жизнь. Глядя на нее саму, можно было себе представить, каким был и ее брат.

Она много говорила о первой жене брата, а еще больше об их дочери (первой дочери Бабеля), с которой была в тесной и продолжительной дружбе...

К сожалению, когда мы срочно после войны Судного дня перебирались из кибуца «Ашдот-Яаков» в северный, пограничный кибуц «Амир», записи эти потерялись. Я все еще надеюсь когда-нибудь их отыскать.

Остались несколько фотографий и теплая память о добрых, честных, интеллигентных людях...»

***Стив Левин**, кандидат филологических наук, литературовед. Репатриировался в Израиль из Саратова в 1999 году. Автор книги "С еврейской точки зрения... Избранные статьи и очерки" (2010), а также ряда статей, посвященных истории русской литературы XIX - XX вв. и русско-еврейским литературным связям.*

МАРК ГИНЗБУРГ

ПОГРОМЫ В РОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИКЕ

В начале сталинской антисемитской кампании (40-50-е гг.) положение евреев в математике относительно мало отличалось от их положения в других областях науки. Травили, так сказать, в меру предусмотренного и держались в определенных границах, поскольку инициатива шла сверху. Но с 1960 года советские математики-евреи почувствовали беспрецедентное давление, исходившее, как это ни странно, от своих же коллег. Естественно было ожидать этого от людей, жаждущих занять свое место под солнцем и не брезгливых, но организаторами и вдохновителями этой кампании «снизу» были некоторые члены верхушки советской математической науки, осыпанные наградами и пользовавшиеся заслуженной международной известностью. Это покойные академики И. М. Виноградов (1891-1983) и Л. С. Понтрягин (1908-1988) и ныне здравствующий их последователь и преемник, «теоретик» антисемитизма академик И.Р. Шафаревич.

Эти крупнейшие математики не только не скрывали своего антисемитского настроя, но действовали открыто и демонстративно.

Академик И.М. Виноградов приобрел известность в начале своей карьеры работами по аналитической теории чисел. Он решил ряд проблем, которые считались недоступными математике начала XX века. Однако, после выдающихся работ, сделанных в молодые годы, Виноградов не опубликовал ничего значительного. Это не помешало ему стать дважды Героем Соц. Труда, лауреатом

Сталинской, Ленинской и Государственной премий. С1934 г. и до своей смерти он - директор Математического института им. Стеклова. В качестве директора он преуспел в превращении ведущего академического института в гнездо и рассадник антисемитизма. В 1978 г., после смерти доктора физико- математических наук Марка Наймарка, институт оказался очищен от евреев полностью. Чем его директор гордился чрезвычайно. По словам крупнейшего математика академика Сергея Петровича Новикова, «Институт ассоциировался с демонстративным, гнусным антисемитизмом, насаждаемым Виноградовым».

Академик Понтрягин тоже не страдал от недостатка наград и титулов. Он был Героем Соц. Труда, лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, членом многих иностранных Академий.

Имена ряда других высокопоставленных математиков-антисемитов были названы в 1978 году на XVIII Международном конгрессе математиков в Хельсинки, где Григорию Маргулису должны были вручить самую престижную в мировой математике награду - Филдсовскую премию,присужденную ему за разработку теории решёток в полупростых группах Ли. Однако Понтрягин и Виноградов добились исключения Маргулиса из делегации. Это стало международным скандалом. Понтрягин лишился поста представителя СССР в исполкоме Международного математического союза. Конгресс выпустил документ: «Положение в советской математике», где в качестве основных проводников антисемитской политики были названы академики Виноградов, Понтрягин, Тихонов, Никольский, Дородницын, декан мехмата МГУ Кострикин и другие. Почти все они Герои Соц. Труда, лауреаты Сталинской, Ленинской и Государственной премий.

В мае 1980 года 40 математиков калифорнийского университета в Беркли и других вузов США объявили бойкот приехавшему по программе Фулбрайта академику РАНЮ.Л.Ершову, декану механико-математического факультета Новосибирского университета в связи с его участием в антисемитской политике против еврейских коллег в СССР, в отклонении диссертаций ныне известных еврейских учёных, в исключении евреев из списков приглашённых на

конференцию по математической логике в Кишинёве. Институт математики Сибирского отделения Академии наук тоже «прославился» провалами диссертаций, представленных математиками-евреями.

В юдофобском триумвирате Виноградов-Понтрягин-Шафаревич первые еще как-то стеснялись открыто заявить: *«Да, мы считаем евреев вредным и опасным народом, и пока живы, не пропустим ни одного в нашу область!»*. А опубликовать и теоретически обосновать их мотивы выпало на долю третьего. Его книги дарили патриотическое благословение носителям зоологического антисемитизма в широких массах, в том числе и в «интеллигентных математических». А для более простой публики живописались картины вероломства и кровожадности евреев.

Основную идею своей «Русофобии» Шафаревич позаимствовал у французского историка Кошена. Подлинной причиной и движущей силой французской революции Кошен считал «малый народ» - антинациональную элиту, навязавшую «большому народу» свои идеи и теории.

Шафаревич утверждает, что в России центральное ядро «злостного Малого Народа», состоит из националистически настроенных евреев. Это ядро навязывает «большому» народу «надменно-ироническое, глумливое отношение ко всему русскому»: *«Исчезает интерес человека к труду и к судьбам своей страны, жизнь становится бессмысленным бременем, молодежь ищет выхода в иррациональных вспышках насилия, мужчины превращаются в алкоголиков или наркоманов, женщины перестают рожать, народ вымирает...»*.

После опубликования «Русофобии» появилось письмо протеста против взглядов Шафаревича за 31 подписью, включая Юрия Афанасьева, Дмитрия Лихачёва, Андрея Сахарова. В 1992 году более 400 математиков опубликовали в «Notices of the American Mathematical Society» коллективное обращение к Шафаревичу с просьбой пересмотреть его позицию. Национальная академия наук США предложила ему добровольно отказаться от членства в ней, так как процедуры исключения из академии не существует. Совет Американского математического общества также выпустил заявление, в котором выразил своё осуждение «антисемитских работ» Шафаревича».

Эту «работу» Шафаревич продолжал и в поздние годы. Одна из последних - «Трехтысячелетняя загадка» (432 с.). Её издатели (Эксмо, Библиополис, Алгоритм и др.) в аннотации пишут: «Выдающийся мыслитель нашего времени Игорь Ростиславович Шафаревич, исследовав еврейский вопрос, пришёл к выводу, что он всегда возникал, когда дело касалось захвата власти. Так было в Египте и Персии, в Риме и древней Хазарии, а в не столь отдалённом прошлом и в России».

Уже в середине 1960-х группа академиков по главе с Виноградовым и Понтрягиным подчинила своему влиянию отделение математики АН СССР, получила контроль над редакциями ведущих математических журналов и физико-математической редакцией издательства «Наука», а в середине 1970-х получила также контроль над экспертным советом ВАК по математике и специализированными учёными советами по защите диссертаций. В течение 20 лет (с 1964 по 1984) ни один математик еврейского происхождения не был избран в Академию наук СССР.

Дискриминация была всеобъемлющей и четко направляемой и начиналась уже на приемных экзаменах во многие престижных ВУЗы. После 1967 г.на мехмат МГУ евреев практически не принимали. Наиболее талантливым из них, победителям олимпиад, на вступительных экзаменах предлагались сложнейшие задачи всесоюзных и международных математических олимпиад, что было прямо запрещено инструкциями. На устных экзаменах задавались вопросы, выходящие далеко за рамки школьной программы.

Академик Сахаров отмечал, что одну из предлагавшихся еврейским абитуриентам задач он сам решил с трудом в результате часовой работы у себя дома, а у абитуриента было всего 20 минут во время экзамена при недоброжелательном экзаменаторе.

В 1978 году на мехмат МГУ было принято 2 еврея (общее число принятых 425 человек). В числе поступавших были пять победителей международной, всесоюзной, всероссийской и московской олимпиад по математике (Гальперин, Корельштейн, Рохштейн, Гохберг, Эткин), из них двое медалисты. На мехмат был принят лишь Гальперин - победитель международной олимпиады в Белграде 1977 г.

Чтобы помогать школьникам, которые жили за пределами крупных городов, была создана школа заочного обучения. Одним из её основателей был И.М. Гельфанд. Каждый месяц ученики по почте получали брошюру с учебными материалами и задачи, более сложные, чем те, которые проходят в школах. Учащиеся должны были их решить и отправить в школу на проверку. Оценки решения отправляли учащимся. В одном из писем говорилось: «Если вы хотите подавать документы в МГУ, перед этим загляните к нам, и мы дадим вам несколько советов». Один из «советов» гласил: «Вы знаете, что евреев не принимают в Московский государственный университет? Вам не стоит даже пытаться сюда поступить».

Э.Френкель (впоследствии – профессор Гарварда и калифорнийского университета в Беркли, известный работами в теории представлений, алгебраической геометрии и математической физики) вспоминает: «При поступлении в МГУ в 1954-м я проходил собеседование. Ко мне подошла молодая преподавательница и тихо сказала: «Не теряйте времени, у вас нет никаких шансов».

Аналогичный совет получил и автор этих строк на консультации для абитуриентов мехмата МГУ в 1947 г. Консультант расспросил меня, где я учился, а потом обронил: «Самое неприятное, что в ведомости стоят метки против фамилий тех, которых надо срезать». Спасибо ему! Я забрал документы и подал их на электрофизический факультет МЭИ.

Институт находился на подъеме, директором его была Валерия Алексеевна Голубцова - жена Маленкова. Поступить в МЭИ было нелегко. В том 1947 году на факультет принимали без экзаменов демобилизованных из армии, успешно прошедших подготовительные курсы института. Соответственно реальный конкурс на оставшиеся места электрофизического факультета составлял примерно 9 человек на место. Нужны были только высшие балы.

На устный экзамен по математике я пришел с легкой душой и столкнулся с явной враждебностью. Каждое мое утверждение, решение с ходу отвергалось: «неточно, неправильно». Через несколько минут я вышел с тройкой в своем экзаменационном листке. Потеря двух очков выбивала меня из дальнейшей гонки.

Пройдя три инстанции, я добился повторного экзамена, и у председателя экзаменационной математической комиссии получил пять.

На физике молодой хамоватый экзаменатор после серии вопросов вытащил зажигалку, зажег огонек и спросил, почему стало светлей. Но я еще в Баку прошел хороший курс физики, изложил ему основы квантовой теории света, предложил написать уравнение Шредингера и вывести параметры разрешенных орбит электронов. Он сказал, не надо, и поставил “5”.

Я уж не знаю, откуда взялся десант этих молодых ретивых экзаменаторов. Мне впоследствии много раз приходилось бывать на кафедрах математики и физики, никого из них ни разу не встретил.

За шесть лет учебы в МЭИ и жизни в общежитии я не видел и намека на некое предвзятоеотношение к евреям ни у преподавателей, ни у студентов. Хотя на улицах Москвы сталкивался с антисемитизмом неоднократно.

Порядочные и смелые люди выявляются при любых режимах. И в море патологической ненависти к евреям были либеральные островки, неприемлющие антисемитизм. В области математического образования такими наиболее заметными островками в Москве были Нефтяной институт и Московский институт инженеров транспорта, куда принимали людей с «неправильными» биографиями. Многие блестящие математики вышли из стен этих институтов. В математической науке таким островком был, прежде всего, Центральный экономико-математический институт Академии наук (ЦЭМИ). Академик В.М. Полтерович рассказывал: «В ЦЭМИ стекались математики, в том числе и те, кто вследствие процветавшего тогда антисемитизма не могли найти себе работу в других местах. Здесь работала целая плеяда очень сильных математиков: Е. Гольштейн, В. Данилов, А. Дынин, Е. Дынкин, А. Каток, Б. Митягин, Б. Мойшезон, Г. Хенкин и другие. Они делали свои абстрактные работы и одновременно старались вживаться в экономическую теорию. Впоследствии многие уехали на Запад. И это вызвало недовольство властей. В начале семидесятых было устроено собрание для осуждения «отъезжантов». Но далеко не все были готовы осуждать. Иосиф Львович Лахман отказался выступить и лишился лаборатории, но, тем не менее, проработал в

ЦЭМИ еще много лет».К словам академика Полтеровича добавлю, что ныне профессор Лахман -президент Американской Антифашистской ассоциации иммигрантов из бывшего СССР, живет в Бостоне; в свои 93 года активен, встречи с ним доставляют истинное удовольствие.

Наиболее чувствительные удары обрушились на зрелых ученых-евреев, в большинстве своем докторов физико-математических наук, вклад которых в математику был признан всем миром. Впоследствии они – профессора престижных зарубежных университетов, члены Национальной академии наук США и академий других стран. Среди них **Е. И. Зельманов**, лауреат Филдсовской премии, **Я. Г. Синай** (работы в области как математики, так и математической физики; недавно он стал лауреатом премии Абеля - аналога Нобелевской премии для математиков. В настоящее время Яков Синай работает в Принстонском университете), **Г. А. Маргулис**, лауреат Филдсовской премии, **Д.Каждан**, лауреат практически всех мировых призов и премий в области математики. **Е.Б.Дынкин, И. Н. Бернштейн, Б. С. Митягин, М.Л.Громов**, лауреат Абелевской премии, **В. Г. Кац, Б.Г. Мойшезон**… В начале 1970-х он стал одним из «отказников», которые боролись за право выезда из СССР. В конце 1972 года получил разрешение на выезд и занял должность профессора в Тель-Авивском, а затем - в Колумбийском университетах. Тяжелое положение **И.И. Пятецкого-Шапиро** как отказника с серьёзными ограничениями на его исследования, оказавшегося без средств к существованию, привлекло внимание в США и Европе. В 1976 году его дело рассматривала Национальная академия наук США с целью получения для него выездной визы. С 1977 года работает в Тель-Авивским и Йельском университетах.Этот перечень можно продолжать и продолжать.

Среди величайших фигур мировой математики в первой половины XX века пожалуй, две самые яркие - Андрей Николаевич Колмогоров и Израиль Моисеевич Гельфанд - академик 12 иностранных Академий наук, Герой Соц. Труда, лауреат двух Сталинских, Ленинской и Государственной премий.

Академик Колмогоров говорил, что в присутствии двух математиков *«ощущал присутствие высшего разума. Один из этих двух – Гельфанд».*

Основные труды Гельфанда относятся к функциональному анализу, алгебре и топологии. Он один из создателей теории колец с инволюцией и теории бесконечномерных унитарныхпредставленийгрупп Ли, имеющей существенное значение для теоретической физики. Он открыл широкий спектр новых направлений исследования и создал новые области науки. Гельфанд занимался также и прикладными аспектами математической методологии в различных областях физики, сейсмологии и информатики. Он известен не только вкладом в математику, но и признанными выдающимися достижениями в медицине и биологии. В начале 60-х, он начинает усиленно заниматься биологией, ему присуждают звание доктора биологических наук.Он автор многочисленных работ по нейрофизиологии волевых движений, клеточной миграции в тканевых культурах, протеомике (классификации третичной структуры белков). Такая широта не имеет примеров в науке последнего времени.

Но и он был не в силах противостоять антисемитской академической мафии. В начале 70-х дома у Гельфанда я спросил, как можно помочь работавшему у меня в лаборатории в Баку талантливому математику М. Буртману, бывшему аспиранту профессора С.Г.Гиндикина. Израиль Моисеевич ответил горькой шуткой: «Буртман может на что-то надеяться только в том случае, если «ваш» Гейдар Алиев позвонит председателю ВАКа».

Для подхода Гельфанда к решению сложнейших задач характерна творческая свобода воображения.Так, при испытаниях очередного ракетного двигателя происходило неравномерное обгорание сопла – и ракета заваливалась. Поставленную перед математиками модельную задачу Институт математики Сибирского отделения АН СССР брался решить за полгода. Гельфанд ее решил за вечер. Ситуацию он представил таким образом: восковой потолок, под которым находится горящая свеча. Она выжигает в воске лунку, которая с учетом положенных допущений и есть модель выгорания сопла. А эту лунку он описал дифференциальными уравнениями.

Гельфанд участвует в атомной и ракетной программах, получает престижные государственные премии, и в то же время подвергается нескрываемому издевательству со стороны антисемитской

академической мафии. В ее руках было формирование состава делегаций на конгрессы, и академики-юдофобы не пропускали Гельфанда на зарубежные конференции, трижды заваливали его при выборах в академию. В академики его не пропускали 31 год! И только в 1984-ом, когда блокирование выборов Гельфанда и запрет на его участие в международных математических конгрессах, стали абсурдным анек-дотом, отделение математики, наконец, пропустило его в академики

И.М.Гельфанд поселился в США в 1989 году. Был приглашённым профессором в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте. Был профессором отделений математики и биологии Ратгерского университета. Умер И.М. Гельфанд 5 октября 2009 г. на 97-м году жизни.

Выступая на семинаре его памяти С. Г. Гиндикин, профессор Ратгерского университета, отметил, что Израиль Моисеевич может быть внесен в книгу Гиннесса как человек, активно работавший в математике дольше всех - 74 года, с 20 лет до 94-х.

***

К концу 80-х СССР покинули практически все сильные математики, которые «делали погоду» в науке. Соответственно возникла мощная русская научная диаспора на Западе. Сейчас не найти хорошего американского университета без русского математика. Не зря, выступая в декабре 1987 г. на пресс-конференции в Вашингтоне, М.С. Горбачев сказал, в частности, что «...США на 50% удовлетворили свою потребность в математиках за счет эмиграции математиков из СССР». Высшей международной наградой в области математики, медалью Филдса, присуждаемой на Всемирных математических конгрессах, были удостоены 6 ученых из СССР. Но четверо из них работают в США, один во Франции и лишь один, академик Сергей Новиков работает не только в США, но и в России. Сегодня из 94 членов отделения математики Национальной АН США - 8 эмигрантов из России, из школы Гельфанда.

По мнению профессора РЭШ Константина Сонина, мехмат МГУ, который «когда-то мог соревноваться сразу с несколькими ведущими факультетами Америки, сейчас, похоже, не входит и в

первую тройку в России». Профессор Мелвин Натансон из Университета Нью-Йорка сравнил массовую эмиграцию евреев-математиков из СССР с оттоком научных кадров из нацистской Германии и предсказал, что из-за такой политики в будущем СССР не сможет конкурировать с Западом в области науки и будет зависеть от импорта технологий.

Итог же не так давно подвел президент Московского математического общества академик Виктор Васильев. На конференции РАН 29 августа 2013 года он подчеркнул, что последствия деятельности советских «партийно-государственных антисемитов» невосполнимы и очень болезненны для российской математики.

Так антисемитские погромы в российской математике обратились разгромом математики российской.

Марк Гинзбург *в СССР руководил разработкой государственных информационных систем. Автор около 100 научных работ и изобретений, нескольких монографий. В США преподавал в колледжах математику и иудаизм. За циклы лекций в штатах Массачусетс и Нью-Джерси отмечен премией «Корона Торы». Автор книг «До, После, Над», «Берег моря суеты», «10 лет с правом переписки», «Этический иудаизм».*

Книги и статьи Марка Гинзбурга издавались в Америке, России и Германии.

Живет в Бостоне.

Постоянный автор журнала “Время и место”.

ПАВЕЛ ИЛЬИН

«А ВЫ ИЗ КАКОГО ГОРОДА?»

Мои встречи с Теодором Шабадом

Теодор Шабад (Theodore Shabad), а для тех, кто его знал, просто Тед Шабад, – американский журналист и географ, которого тепло вспоминают многие его коллеги, работавшие в СССР в 1960–1980-е годы. Основаный и редактируемый им журнал – «Soviet Geography: Review and Translation» («Советская география: обзоры и переводы») – публиковал статьи советских географов на английском языке.

Появиться у Шабада в журнале была большая честь. Теперь уже многое забылось, а молодое поколение вряд ли понимает, насколько изолированно от западного мира мы жили в те годы. Заграницу ездили, в основном, только начальники. Контакты с зарубежными коллегами были строго ограничены. Во многих институтах существовали специальные списки лиц, допущенных к общению с иностранцами.

Теодор Шабад происходил из семьи виленских (вильнюсских) евреев, чьи корни уходят далеко в глубь веков. Его дед, Тимофей Осипович (Цемах Йоселевич), знаменитый врач и общественный деятель, послужил прототипом Доктора Айболита Корнея Чуковского. В бывшем еврейском квартале Вильнюса ему установлен памятник. Его сын Яков, отец Теодора, был агрономом.

Т.Ш. родился в 1922 году в Берлине. В 1933 году он с матерью и отчимом переехал во Францию, а в 1938-м эмигрировал в Соединенные Штаты. Еще в раннем детстве Тед привязался к гео-

графии, а потом и к русскому языку – чтобы легче было переписываться с отцом, который в это время служил в Советской Армии. Из этих двух страстей и родился его интерес к географии Советского Союза.

Несколько лет Т.Ш. работал корреспондентом «Нью-Йорк таймс» в Москве, часто посещал Союз и в другие годы. И представьте, какую гамму чувств, – от смятения до восторга – испытывали его советские коллеги, когда в глухую эпоху изоляции появлялся среди них «живой» американец – удивительный человек, блестяще знающий географию Советского Союза, который интересовался нашими работами и хотел печатать их в Америке.

Мне повезло быть знакомым с этим замечательным человеком. и испытать на себе его обаяние; мне также повезло быть дважды напечатанным в его журнале. И я хотел бы поделиться с читателем моими воспоминаниями о встречах с Тедом Шабадом.

Весной 1976 года я узнал, что моя статья напечатана в «Soviet Geography». Зная, что Т.Ш. присылает номера журнала авторам опубликованных в нем статей, я стал с нетерпением ждать. Однако журнал не приходил. В это время шла подготовка к XXIII Международному географическому конгрессу, назначенному на лето в Москве. Я был секретарем секции, посвещенной вопросам

географического образования и распространения географических знаний, на которой ожидался доклад Шабада о созданном им журнале. И однажды, посылая ему очередное официальное письмо, сделал к нему приписку с просьбой о журнале. И получил ответ: Т.Ш. обещал захватить для меня номер с собой на конгресс.

Конгресс проходил в главном здании Московского университета на Ленинских (ныне Воробьевых) горах. Накануне его открытия я услышал, что Шабад приехал. Многие московские географы знали Т.Ш. еще со времени его работы в Москве корреспондентом «Нью-Йорк таймс», я же с ним знаком не был. Шабад разговаривал с профессором Ю.Г. Саушкиным, моим учителем по университету, ныне покойным. Я подошел к ним, и Юлиан Глебович спросил своим хорошо поставленым голосом, знакомым многим поколениям гео-

графов: «Вы ко мне или к доктору Шабаду?» и представил меня ему. Шабад тепло поздоровался, сказал, что номер с ним, но он просит разрешения отдать его мне позднее, так как хочет продемонстрировать его как образец во время доклада,

Доклад Шабада «О роли переводных журналов в наведении мостов между географами разных стран» вызвал большой интерес. И неудивительно, ведь созданный им журнал – уникальный в нашей науке. К тому же практически всю работу по отбору и переводу статей для него делал один человек – он сам. Было много вопросов. Отвечая на один из них, Т.Ш. сказал, что самое трудное для него, – это отбирать статьи для перевода, чтобы не пропустить ничего более или менее значительного, что появлялось в советских географических журналах.

Надо сказать, что авторы опубликованных в «Soviet Geography» статей рассматривали этот факт как своеобразный «знак качества». Ученые с гордостью говорили: «Меня перевел Шабад!». В Институте географии Академии наук, где я тогда работал, при оценке работы научных сотрудников переводы в «Soviet Geography» даже рассматривались как отдельные самостоятельные статьи. Иначе говоря, «вес» статьи, напечатанной в «Soviet Geography» считался в два раза выше, чем любой другой. Впрочем, мне известен случай, когда публикация перевода статьи в «Soviet Geography» вызвала другую реакцию. Некая ученая дама из одного провинциального университета однажды не на шутку встревожилась: Что она такого написала, что ее статья напечатана в капиталистическом журнале? И что с ней теперь будет? Но это, скорее, курьез – даже в то время.

Среди советских географов высоко ценилась и рубрика «New Notes». Ни в одном советском издании нельзя было найти столь подробного обзора географических новостей в СССР, как в этих «notes», сделанных Т.Ш. на основе просмотра центральных и республиканских газет и журналов. Его работоспособность и умение ухватить все самое существенное были поразительными.

Нельзя не упомянуть и еще об одной стороне деятельности Т.Ш.: он прекрасно знал весь корпус советских географов, и три специальных выпуска «Soviet Geography» – «Directory of Soviet

Geographers» 1967, 1977 и 1988 годов тоже не знают себе равных в советской научной литературе. Каким-то непостежимым образом ему удавалось уследить за всеми перемещениями ученых. И когда мы с ним встретились в сентябре 1980 года, то первое, что он мне сказал, было: «Я знаю, что вы перешли в “Советскую энциклопедию!”» И это – спустя лишь пару месяцев после моего перехода.

Эта наша встреча была любопытна тем, что она произошла в самолете Москва–Фрунзе (ныне Бишкек), на пути на VII съезд Географического общества СССР. На съезд были приглашены только географы из социалистических стран, но никто из знавших Т.Ш. не сомневался, что он найдет способ приехать в столицу Киргизии, как за пять лет до этого он приехал на предыдущий съезд в столицу Грузии – Тбилиси. И поэтому, случайно оказавшись с ним в одном самолете, никто из нас, летящих на съезд, не удивился: Т.Ш. не мог пропустить такое событие, как съезд географов СССР.

В перерывах между заседаниями его можно было увидеть либо спешащим из одной секции на другую, чтобы не пропустить интересный доклад, либо беседующим с коллегами, либо у книжнтх прилавков. Обычно географические институты и факультеты привозят на съезды и конференции свои издания, и Шабад скупал буквально все книги и брошюры. «Спешу на почту», – бросил он мне, столкнушись со мною в дверях, и с гордостью показал на увесистую пачку книг под мышкой: «Это уже третья!»

Однако для организаторов съезда Шабад оставался persona non grata, и когда оргкомитет устроил в гостинице «Пишпек» прием и банкет в честь иностранных ученых, Шабада на него не пригласили. Но банкет в честь Т.Ш. состоялся: его устроила группа участников съезда, не боявшихся открыто общаться с коллегой из США. Это незапланированное чествование «непрошенного гостя» прошло в одном из номеров этажом выше. В адрес Т. Шабада было сказано тогда много теплых, искренних слов.

Во Фрунзе Шабада всего лишь не пригласили на прием, а когда он приехал в Киев на следующий съезд, местные организаторы вообще пришли в ужас: «Американец на съезде!» и потребовали не допускать его на заседания. Только вмешательство руководителей Географического общества СССР, обратившихся за специальным

разрешением в Москву, позволило Т.Ш. присутствовать на съезде.

Т. Шабад прекрасно владел русским языком, просто и естественно держался с людьми, Его никто не принимал за иностранца. Во Фрунзе для обслуживания зарубежных гостей было выделено отдельное помещение, где работали две мои знакомые дамы из Ленинграда. Как-то я зашел к ним «на огонек». И тут открывается дверь, и входит Т.Ш. Не заметив меня, он поинтересовался, где можно получить материалы съезда. Ему ответили, что здесь они выдаются только иностранным ученым. Каково же было удивление моих милых знакомых, когда они узнали, что перед ними – иностранец! Даже после моего подтверждения они не сразу поверили...

Второй подобный случай на моих глазах произошел в тот вечер, о котором я уже рассказывал: после нашего дружеского банкета мы отправились в другую гостиницу, «Киргизстан», где жило большинство участников съезда, и там в ресторане фактически продолжили банкет. Т.Ш. был в великолепном настроении, говорил тосты, мило беседовал со случайной, совсем еще юной соседкой по столу. Но совершенно сразил ее, когда на вопрос «А вы из какого города?» ответил: «Из Нью-Йорка!»

Но что говорить о юной жительнице Фрунзе, если даже видавший виды московский географ рассказывал мне, как однажды в Московском филиале Географического общества СССР он разговорился с незнакомым ему человеком, которого принял за литовца. И растерялся от неожиданности, когда тот сказал, что он – корреспондент «Нью-Йорк Таймс»...

Надо было видеть, как радовался в таких случаях Т. Шабад, как молодо и по-озорному светилось его лицо!

В 1982 году моя семья обратилась к властям за разрешением на выезд из Советского Союза. Получили мы его только через пять лет. В это трудное время я к каждому Новому году получал от Теда теплые поздравления, которые, как и другие письма зарубежных коллег, очень нас поддерживали. И вдруг, в мае 1987 года, пришла весть о кончине Т.Ш. Его сердце остановилось в такси на пути с работы домой. Ему было всего 65 лет, и ничто не предвещало катастрофы...

Теодора Шабада, замечательного географа и человека, помнят все, кому посчастливилось с ним общаться.

Павел Ильин – *географ, редактор, журналист, переводчик; кандидат географических наук. Окончил Московский университет, работал в Институте географии Академии наук СССР и издательстве «Большая Советская энциклопедия». Опубликовал около ста научных и научно-популярных работ на восьми языках. Участник международных геграфических конгрессов в Москве и Вашингтоне и множества других научных конференций. Автор популярных радиопередач для школьников о географии СССР («Захар Загадкин, кок и другие»).*

В 1987 году эмигрировал в США. Был научным сотрудником Института русских исследований имени Дж. Кеннана; с 1997 года – географ-консультант Американского Мемориального музея Холокоста (United States Holocaust Memorial Museum) в Вашингтоне.

СЕМЕН РЕЗНИК

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Главы из книги
(Окончание. Начало в номере 1 (29) 2014

«Рефлекс свободы»

1.

Иван Петрович Павлов и учитель Ухтомского Николай Евгеньевич Введенский принадлежали к одному поколению, и жизненные пути их во многом были сходными. Оба были выходцами из семей провинциальных священников, оба окончили духовную семинарию, оба были воспитаны на идеях Писарева и Чернышевского, оба с юности посвятили себя науке, оба, хотя и не одновременно, окончили Санкт-Петербургский университет (Павлов еще и военно-медицинскую академию), оба стали крупнейшими физиологами. Но если Введенский был тщедушным, тихим, стеснительным, незаметным, то крепкий, кряжистый, решительный Павлов принадлежал к тому типу характеров, которых везде, где они появляются, сразу становится «слишком много».

Боевитый и целеустремленный, с огромным зарядом энергии, Павлов был ярко выраженным экстравертом: то, что возникало у него в уме, сразу же появлялось на языке. Во всё, к чему он прикасался, он вкладывал огромную страсть. Даже в любимую свою игру – городки – он играл с неистовым азартом и очень не любил проигрывать. Чуть ли ни с кулаками набрасывался на противников, обвинял их в нарушении правил, жульничестве и других смертных грехах, хотя противниками часто были его сыновья или ближайшие друзья. Служанка кричала его жене Серафиме Васильевне:

– Бегите скорее, а то они убьют друг друга!

В работе Павлов был столь же неистов и азартен, костил помощников за любую промашку – действительную или мнимую. В полемике был резок, невыдержан, не щадил ничьего самолюбия. Качества невозможного самодура и деспота непостижимым образом сочетались в нем с широким демократизмом. Высшим авторитетом для него был только его величество факт. Факты – воздух науки, перед лицом фактов нет патрициев и плебеев, перед ними все равны: академики и школяры, профессора и студенты, друзья и враги. Он мог страстно отстаивать какую-то идею, а назавтра громогласно назвать ее чепухой, ибо опыты ее не подтвердили. Он был очень требователен к сотрудникам, при их малейшей оплошности выходил из себя, но не терпел лести, угодничества, подобострастия. Лекции он читал ярко и увлеченно, но разрешал и даже поощрял в любом месте себя перебивать. Если затруднялся ответить на вопрос, так прямо и говорил, что не знает, и приглашал студента придти в лабораторию и вместе поставить эксперимент для получения ответа. Когда студент приходил, к опыту все было готово: дорожа своим временем, он дорожил и чужим. Лекции его сопровождались демонстрациями опытов, которые тоже тщательно готовились. И горе было ассистенту, если при демонстрации возникала заминка. Профессор буквально свирепел, тут же, в переполненной аудитории, мог обозвать своего ассистента (часто уже немолодого почтенного ученого) тупицей, болваном и неучем. Но был отходчив, и если выяснялось, что был неправ, сразу это признавал и приносил извинения. Л.А. Орбели, ставший позднее крупнейшим представителем школы Павлова, вспоминал, что по началу, когда работал в лаборатории Павлова волонтером, без оплаты, отношения у них были самые великолепные. Но как только Павлов зачислил его на штатную должность, начались придирки.

«Ивану Петровичу нужно было ассистировать при операциях; он работал то левой, то правой рукой (он был левша), перекидывал пинцеты, нож из правой руки в левую, значит, ассистирующему очень трудно было за ним угнаться. Оперировал он великолепно, но из-за каждого пустяка ругался:

-Ах, вы мне это сорвете, вы мне все испортите, пустите, вы не так держите».

В конце концов, Орбели попросил поручить ассистирование кому-то другому, а самому снова перейти на положение волонтера. Озадаченный Иван Петрович помолчал, потом спросил: «Это вы что, господин, из-за того, что я ругаюсь?» – «Да, вы ругаетесь, значит, я не умею делать так, как нужно». – «Эх, это у меня просто привычка такая; я не могу не ругаться, а вы относитесь к этому… Вы,

когда входите в лабораторию, чувствуете запах псины? » – «Да, чувствую» – «Так и рассматривайте мою ругань как запах псины. Вы же из-за запаха псины не бросаете лабораторию».

Орбели остался, но другие не выдерживали и уходили навсегда. Невозможно подсчитать, сколько талантов потеряла из-за этого наука. А может быть, и не потеряла. Может быть, уходили те, у кого не был развит «рефлекс цели», без которого, по убеждению Павлова, в науке ничего не добиться.

Однако столь же высоко, как «рефлекс цели», он ценил «рефлекс свободы». Его главная претензия к большевикам состояла в том, что их «диктатура пролетариата» подавляла «рефлекс свободы», превращала народ в рабов, с которыми можно строить египетские пирамиды, но не общество свободных и счастливых людей.

Чуткостью к окружающим Иван Петрович не отличался. У него был старый приятель, бывший соученик, работавший врачом в Воронеже. Приезжая изредка в Петербург, он наведывался к Павлову, и они тихо беседовали в его кабинете, пили чай, вспоминали молодость. Во время одной такой беседы вдруг поднялся шум, ругань; старый врач, как ошпаренный выскочил из кабинета, быстро спустился по лестнице, дрожащими руками накинул пальто и бросился к выходу. Оказалось, что он спросил Ивана Петровича, как тот относится к загробной жизни, существует она или нет. Рационалист до мозга костей, Павлов ответил, что все это чепуха, врачу стыдно задавать такие вопросы. Приятель второй и третий раз подвел разговор к тому же предмету, и тогда Павлов вспылил, сказал, что у него нет времени на пустую болтовню, и велел убираться.

Орбели вспоминал: «На следующий день Иван Петрович приходит мрачный, белее полотна, и хватается за голову: «Что я наделал! Ведь этот доктор ночью покончил с собой. Я, дурак, не учел того, что у него недели три тому назад скончалась жена, и человек искал себе утешения; если существует загробная жизнь, то он все-таки встретится с душой умершей жены. А я этого всего не учел и так оборвал его».

Орбели свидетельствует, что Иван Петрович всегда готов был оказать помощь нуждающемуся человеку, *если его об этом просили*. Сам он, поглощенный наукой и своими мыслями, помощи не предлагал, просто не думал об этом.

Зато неумение держать язык за зубами делало Павлова бесценным учителем и научным руководителем.

«Вся его умственная деятельность целиком протекала на глазах его сотрудников, и мышление вслух, думание вслух составляли его

характернейшую черту, – свидетельствовал Орбели. – <…> Он выкладывал свои мысли в тот момент, когда они возникали, и давал возможность всем окружающим проследить за всеми разветвлениями этих мыслей, за всеми колебаниями, которые эти мысли претерпевали, пока не оказывались законченными. И в этом собственно заключалось особенно большое обаяние его и отсюда главным образом возникало влияние его на окружающих».

Еще более выразительно о том же рассказано в воспоминаниях ученицы Павлова, Марии Капитоновны Петровой:

«Всякая новая научная мысль, пришедшая ему в голову, сообщалась и нам, работавшим у него, у него не было от нас научных секретов. Увлекаясь каким-нибудь вопросом, он умел заинтересовать им и каждого своего сотрудника. С юношеским задором и горящими глазами, безгранично, до самозабвения любящий свою науку, бегал он от одного сотрудника к другому, сообщая пришедшую в его голову мысль для объяснения или освещения интересовавшего его в эту минуту научного факта. Он не пренебрегал никаким мнением, пользуясь общим думаньем. Со свойственной ему страстностью стремился к новой очередной задаче, проявляя в то же время колоссальную волю и выдержку. Он преклонялся только перед фактами, мало считаясь с теориями, которых, как он выражался, можно выдумать очень легко сколько угодно и так же легко и отбросить, факт же остается всегда фактом».

2.

Октябрьский переворот и последовавшая разруха – это были *факты*, понятые Павловым как ужасное бедствие для страны, народа, русской науки, культуры, интеллигенции. В этом он не был оригинален: так восприняла революцию почти вся научная элита. Чуть ли ни единственным исключением был «депутат Балтики» К.А.Тимирязев. Но ученая братия Петрограда лишь тихо уповала на то, что «придут союзники, и барин нас рассудит», как с грустной иронией заметил Ухтомский в одном из писем. То есть ограничивалась пересудами в своей среде, не отваживаясь на открытый протест. Павлов же, при его темпераменте, не мог держать свое негодование при себе. Были у него и личные мотивы воспринимать происходящее с особой остротой. Двое из трех его сыновей, оба боевые офицеры, отправились на Дон к Корнилову; один из них, Виктор, погиб (то ли в бою, то ли умер от тифа), второй, Всеволод, воевал в армии Деникина и эмигрировал с ее разгромленными остатками; он вернулся только в конце 1920-х годов.

Денежная часть Нобелевской премии, положенная Павловым в банк, была реквизирована декретом о национализации банков. При одном из чекистских обысков у Павлова была изъята Нобелевская медаль, вместе с ней и другие золотые медали, полученные за научные достижения. Павлов воспринял это как глубокое оскорбление со стороны дорвавшейся до власти шпаны.

Безоглядная смелость Павлова подогревалась и тем, что, по его понятиям, ему уже нечего было терять. В 1919 году ему исполнилось 70 лет, а он считал, что таков «срок дельной человеческой жизни»; и так как вне дела, т.е. вне науки, жизнь для него не имела смысла, то он говорил себе: «Черт с ними! Пусть расстреляют. Все равно жизнь кончена, а я сделаю то, что требовало от меня мое достоинство».

По сложившейся традиции, профессора Военно-медицинской академии вступительную лекцию каждого семестра посвящали «общим вопросам», и Павлов с кафедры, не стесняясь в выражениях, громогласно чествил «диктатуру пролетариата». Его обращения к властям с «просьбой» отпустить за границу не надо понимать буквально. Он мог бы уехать без разрешения, как это сделали многие другие: граница далеко еще не была на замке, железный занавес не был опущен. Более того, как следует из письма А.В.Луначарского Ленину от 21 июня 1920 года, Павлову дважды предлагали уехать. Была бы у него уверенность, что где-нибудь в Швеции, Англии или Америке будет возможность развернуть исследовательскую работу с должным размахом, он не промедлил бы дня. Но преклонный возраст делал его неперспективным, зарубежные друзья ничего определенного не обещали. Так что просьбы о «разрешении» эмигрировать были скорее удобным предлогом для того, чтобы высказать вожакам революции то, что накипело на душе. Он считал и прямо им говорил, что «проделываемый над Россией социальный опыт обречен на непременную неудачу и ничего в результате, кроме политической и культурной гибели моей Родины не даст. Меня безотступно гнетет эта мысль и мешает мне сосредоточиться на моей работе».

3.

Власти никому не спускали и куда меньшей дерзости. Но в отношении Павлова они повели себя совершенно иначе. Как написал В.И. Ленин Петроградскому градоначальнику Г.Е. Зиновьеву, «отпускать за границу Павлова вряд ли рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи правдивым чело-

веком, не сможет, в случае возникновения разговоров, не высказаться против Советской власти и коммунизма в России. Между тем ученый этот представляет такую большую культурную ценность, что невозможно допустить насильственного удержания в России при условии материальной необеспеченности. Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек и вообще позаботиться о более или менее комфортабельной для него обстановке не в пример прочим».

О том, как Иван Петрович прореагировал на эту «заботу партии и правительства», мы знаем из его письма управляющему делами совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичу от 9 июля 1919 г., в котором он категорически отказался ее принять. Но настойчивые попытки ублажить Павлова продолжались. 24 января 1921 г. вышло постановление СНК, подписанное Лениным, «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И.П. Павлова и его сотрудников». О том, каковы тогда были эти условия, красноречиво говорит записка Е.Э. Енчмена – эмиссара, специально посланного в Петроград для ознакомления с состоянием лаборатории И.П. Павлова и выяснения на месте ее конкретных нужд. В записке сообщается, что огромное здание лаборатории Павлова в Институте Экспериментальной Медицины (так называемую «башню молчания») «пришлось совершенно закрыть и заморозить из-за отсутствия дров». Что в лаборатории осталось два сотрудника из 25: остальные мобилизованы в Красную армию. Электрическое освещение не работает, опыты проводятся «при освещении лучиной, зажигаемой у сломанной железной печки (нет даже свечей и керосиновой лампы)». Корм для собак настолько некачественен, что все животные (около ста) подохли; с трудом раздобываемые новые собаки тоже дохнут, «а лучшие живут за счет академического пайка сотрудников».

Таково было положение уже ПОСЛЕ того, как Ленин приказал Зиновьеву обеспечить Павлова всем необходимым!

На декрет Совнаркома Павлов отреагировал тем, что снова отказался от «усиленного пайка» для себя и своей семьи, но не мог не принять помощи для налаживания лабораторных исследований. В «башне молчания» заработало электричество; были завезены дрова, а также пилы, топоры, напильники и другой инвентарь; возвращались сотрудники, вне очереди демобилизованные из армии; подопытных животных стали снабжать доброкачественным кормом. Эти привилегии *«в виде исключения и не в пример прочим»* вызывали ревнивые чувства у ученых коллег. Известный кораблестроитель и знаменитый острослов академик А.Н. Крылов, встре-

тив однажды Павлова на улице, добродушно спросил:

- Иван Петрович, могу я вас попросить об одолжении?

- Конечно, – ответил Павлов.

- Возьмите меня к себе в собаки!

Шутка была не без яда. Помрачневший Иван Петрович сказал:

-Вы умный человек, а такие глупости говорите, - и прошел мимо.

Павлов не мог не чувствовать двусмысленности своего положения и с особой настойчивостью показывал, что привилегии не могут заткнуть ему рот.

Постановление, подписанное самим Ильичем, стало для Павлова охранной грамотой. Оставлять его острые критические высказывания без ответа власти не могли, в полемику с ним вступали и Троцкий, и Бухарин, и Луначарский, но это была именно полемика, а не чекистский застенок и даже не цензура.

В предисловии к своему труду «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных», изданному в 1923 году, Павлов высказал резко-негативное отношение к большевистской революции. Когда готовилось второе издание книги, Н.И. Бухарин просил, даже заклинал его «не ссориться с революцией» и удалить это место из предисловия. Павлов ответил решительным отказом:

«То ли кровь, то ли 60-летняя привычка в лаборатории, только мне было бы стыдно перед собой, если бы я промолчал, когда надо было говорить, или бы говорил не то, что думаю. Поэтому я не могу согласиться на то, чтобы я выкинул в старом введении место о революциях. Революция для меня - это действительно что-то ужасное по жестокости и насилию, насилию даже над наукой; ведь один ваш диалектический материализм по его теперешней жизненной постановке ни на волос не отличается от теологии и космогонии инквизиции».

Книга была переиздана без каких-либо изъятий.

4.

В «ухаживание» за Павловым была вовлечена добрая половина государственной и партийной верхушки: Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Луначарский, нарком здравоохранения Семашко, другой нарком Каминский, предсовнаркома Молотов, закулисно и Сталин (Молотов пересылал ему письма Павлова и согласовывал с ним свои ответы). Все водили хоровод вокруг Ивана Петровича, а он не унимался:

«Я Вам посвящаю все свое внимание, мое время, мой труд, и

надеюсь, на то, что от догматизма марксизма или коммунистической партии вы освободитесь, когда вы действительно войдете в науку, потому что наука и догматизм несовместимы. Наука и свободная критика – вот синонимы».

Это 1923 год. Сказано в лекции студентам, когда среди них уже заметный процент составляли партийцы и комсомольцы, обязанные верить, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

А вот что он писал в декабре 1934-го председателю совнаркома В.М. Молотову:

«Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было <…> Да, под Вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мир <…> Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и что, по моему мнению, грозит серьезною опасностью моей родине <…> Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. <…> Человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими *человечно*. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного *человеческого* достоинства. Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите же родину и нас».

В промежутке между этими двумя демаршами Павлов вел себя столь же вызывающе.

В 1925 году он ушел в отставку из Военно-медицинской академии, с которой был связан 50 лет. Это был протест против чистки студентов «неправильного» происхождения, в особенности выходцев из семей духовенства. Павлов заявил, что он сам сын священника и потому считает себя тоже «вычищенным». Много месяцев его отказывались уволить, исправно привозили ему домой жалование. Он поил чаем посыльного и отправлял назад – вместе с жалованием. Когда стало ясно, что старика не уломать, руководителем кафедры утвердили Л.А. Орбели.

Без работы Иван Петрович не остался – ведь он параллельно возглавлял «башню молчания» в Институте экспериментальной меди-

цины (ИЭМ) и лабораторию физиологии Академии Наук, которую в конце 1925 года превратили в Институт.

Но в Академии Наук тоже шли преобразования, с которыми Павлов не мог мириться. Для советской власти Академия Наук была буржуазным учреждением, постоянно делались попытки ее перестроить, объединить с Коммунистической академией, а то и вообще ликвидировать. Президент академии А.П. Карпинский и непременный секретарь С.В. Ольденбург кое-как держали оборону, объясняя новой власти, что Академия Наук не ведет подрывной работы, что она вообще вне политики. Она только дорожит своими традициями, статусом, независимостью. Это, однако, объяснить большевикам было трудно: по их понятиям, никто не мог быть вне политики. Кто не служит пролетарской власти, тот служит буржуазии. Кто не с нами, тот против нас.

Когда страна, после гражданской войны и военного коммунизма, стала понемногу оживать, в ход пошли методы кнута и пряника. На Академию посыпались щедроты: усиленные пайки, повышенные зарплаты, все более широкое финансирование исследований, превращение маленьких академических лабораторий в институты с расширяющимся штатом сотрудников, новым оборудованием, закупаемым на валюту, снаряжением дорогостоящих экспедиций. За эту отнюдь не чечевичную похлебку от академиков требовали согласовывать с властями тематику исследований, отзываться на нужды народного хозяйства, брать в сотрудники предпочтительно коммунистов, комсомольцев, выходцев из «рабочего класса и трудового крестьянства», хотя бы неподготовленных и неспособных к научной работе. Академия вынужденно шла навстречу этим требованиям, но особого рвения не проявляла. Это воспринималось как противодействие «классово враждебных элементов».

В 1928 году было принято и широко разрекламировано решение совнаркома удвоить общее число академиков, но поставлено условие: часть открывавшихся вакансий должна быть предоставлена коммунистам и «марксистам» – по спущенному сверху списку. В списке стояло, например, имя выдающегося геолога И.М. Губкина, против его избрания вряд ли можно было возразить. С грехом пополам достойным звания академика можно было считать биохимика А.Н. Баха, хотя его революционные заслуги были куда более значительными, чем научные. С натяжкой можно было считать ученым историка-марксиста М.Н. Покровского или энергетика Г.М. Кржижановского – партийно-государственного деятеля, известного, главным образом тем, что он возглавлял разработку «ленинского» плана электрификации (ГОЭЛРО). На худой конец, можно было

считать научной деятельность старого революционера Д.Б. Рязанова, возглавлявшего институт Маркса и Энгельса, где сосредотачивались материалы по революционному движению . Но Н.И. Бухарин, Н.М. Лукин, В.М. Фриче, М.А. Деборин были, в лучшем случае, талантливыми партийными публицистами, а не учеными.

Согласно уставу, новые академики избирались тайным голосованием, причем для избрания требовалось не меньше двух третей голосов. Как заставить академиков голосовать за тех, кого они не могли даже считать учеными? В прессе началась кампания давления и запугивания. Газеты грозили Академии карами, требовали вообще отменить тайное голосование, ибо только враги могут скрывать свои голоса от советской общественности. К президенту академии Карпинскому и непременному секретарю Ольденбургу засылали эмиссаров, их вызывали на ковер в Кремль. Попытки объяснить, что не в их силах заставить академиков голосовать так, как нужно властям, не действовали.

Карпинский и Ольденбург собирали общие собрания Академии, уговаривали коллег войти в положение, быть послушными. В.И. Вернадский, желая сгладить конфликт, предложил проголосовать за кандидатов-партийцев списком, а не за каждого в отдельности, но И.П. Павлов резко возразил: «Как можно такое предлагать? Это же лакейство!»

На другом подобном собрании Павлов вышел из себя. Он резко заявил, что вообще не понимает, зачем их собрали; большевиков не надо бояться, им нужно дать отпор! Где наше достоинство, где достоинство Академии! Коль скоро у них в руках власть, то пусть они *назначат* академиками всех, кого пожелают, – сделал же полоумный римский император Калигула сенатором своего жеребца! Большевики могут сделать то же самое. Но как можно требовать от академиков голосовать против своей совести!? Это не выборы, а профанация. Это унизительно!

Никто другой не мог и помыслить говорить вслух нечто подобное, но большинство в душе, конечно, соглашалось с Павловым. Видя, что Академия на краю гибели, С.Ф. Ольденбург запальчиво возразил Ивану Петровичу:

- Вы можете так говорить, вам позволяется, вас не тронут, вы в привилегированном положении, вы идейный руководитель их партии, большевики сами об этом говорят.

В словах Ольденбурга была доля правды: привилегированное положение Павлова объяснялось не только его мировой славой, но и тем, что большевики пытались оприходовать теорию условных рефлексов. Для них это было учение, подтверждающее «диалекти-

ческий материализм». Н.И. Бухарин, считавшийся теоретиком партии, настойчиво проводил эту мысль. То была чистейшей воды демагогия. Павлов по своему мировоззрению был позитивистом и сцаентистом, то есть считал, что только наука и просвещение, а отнюдь не классовая борьба, выведут человечество на дорогу к лучшему будущему. Научно для него было то, что основано на точных экспериментах и подтверждено фактами, а не хитроумными рассуждениями, какими бы «диалектическими» и «материалистическими» они ни были. Бухарина это не смущало. Павлов, по его словам, выступал против диалектического материализма потому, что с ним не ознакомился, он-де – стихийный марксист, только сам этого не сознает.

После стычки с Ольденбургом Иван Петрович, покинул заседание и общих собраний Академии Наук больше не посещал.

В январе 1929 года состоялись выборы новых академиков. Несмотря на принятые меры, три кандидата из партийного списка двух третей голосов не набрали: Фриче, Деборин и Лукин. Над Академией нависла грозовая туча. Газеты писали, что Академия нанесла удар по рабочему классу, хватит с ней нянчиться, пора ее ликвидировать. Карпинский направил письмо в Совнарком: он униженно просил позволения провести повторное голосование по проваленным кандидатурам – с участием новоизбранных академиков. Это было вопиющим нарушением Устава, но вопрос стоял ребром: либо Устав, либо само существование Академии. Совнарком долго хранил молчание, держа всех в напряжении, затем милостиво разрешил провести новое голосование. Все трое теперь получили нужные две трети голосов – если, конечно, результаты не были подтасованы. Павлов в этой комедии не участвовал. Зато, выступая на заседании, посвященном столетию со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова, сказал:

«Мы живем под господством жестокого принципа: государство, власть – все, личность обывателя – ничего. Без Иванов Михайловичей с их чувством достоинства и долга всякое государство обречено на гибель изнутри, несмотря ни на какие Днепрострои и Волховстрои».

В письме в Совнарком от 20 августа 1930 г. Павлов протестовал против ареста в Москве академика Прянишникова и в Ленинграде профессора Владимирова. Не просил за них, а именно протестовал, заметив, что если Прянишников делал иногда «резкие заявления», то «они неизмеримо менее вредны (если только вредны, а не полезны), чем рабское “чего изволите” – зло и гибель правителей». После этого демарша оба ученых тотчас же оказались на свободе.

Был ли вообще арестован Д.Н. Прянишников, я сомневаюсь: ни в каких других источниках сведений о его аресте не встречал. В наиболее полном списке репрессированных членов АН СССР значится: «Прянишников Дмитрий Николаевич (1865-1948) - агрохимик, физиолог растений, растениевод. Чл.-корр. Петербургской АН с 1913, академик АН СССР с 1929. По непроверенным сведениям, арестован не позднее августа 1930, вскоре выпущен (источник - заступническое письмо академика И.П.Павлова)». Не исключено, что поводом к заступничеству стал непроверенный слух.

5.

Между тем, «ухаживания» за Павловым продолжались. Расширялась его лаборатория в Институте экспериментальной медицины, рос Институт физиологии Академии Наук, земельный участок в Колтушах, выделенный ему еще в 1923 году под питомник для подопытных животных, стал быстро растущей биостанцией. Здесь возводились просторные корпуса, виварии, создавались новые отделы, закупалось новейшее оборудование, рос штат сотрудников, которым создавались роскошные (по советским стандартам того времени) условия жизни и работы. Достаточно сказать, что для научных сотрудников строились уютные двухквартирные коттеджи с палисадниками; каждому предоставлялась отдельная квартира «из расчета увеличенной нормы жилой площади от 12-15 кв. метров на человека + 18 кв. метров дополнительной площади». Для семьи Павлова в Колтушах был выстроен особняк. Это в то время, когда большинство населения Ленинграда, Москвы и других городов ютились в коммуналках, часто в сырых полутемных подвалах или бараках, а «нормой» жилплощади, для многих недосягаемой, было 6 кв. м на человека.

С еще большей заботой партия и правительство относились к созданию «лучших в мире» условий для подопытных животных. Собак не только отменно кормили, для них были оборудованы специальные бани и сушилки, так что попасть к Павлову в собаки действительно становилось вожделенной мечтой. Колтуши превратились в «столицу условных рефлексов». Уже после смерти Ивана Петровича, в 1939 году, биостанция стала Институтом физиологии имени И.П. Павлова – под руководством Л.А. Орбели.

Особенно настойчиво «приручением» Павлова занимался новоизбранный академик Н.И. Бухарин. Он навещал Павлова в его институтах и дома. Заводил оживленные беседы на самые разные темы, удивляя обширностью познаний и широтой интересов. Иван

Петрович коллекционировал бабочек, в его коллекции были очень редкие экземпляры; и вдруг оказалось, что Бухарин и в бабочках знает толк! Милые хитрости начали действовать, сердце ученого, перешагнувшего 80-летний рубеж, стало потихоньку оттаивать. Он «с интересом» прочел подаренную Бухариным книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и нашел доводы автора разумными, хотя не одобрил полемических грубостей и передержек.

Интересно сопоставить мнение Павлова с оценкой куда более «социально близкого» большевикам А.М. Горького: «Получив книгу Ленина, – начал читать и – с тоской бросил ее к черту. Что за нахальство! Не говоря о том, что даже мне, профану, его философические экскурсии напоминают, как ни странно – Шарапова и Ярморкина , с их изумительным знанием всего на свете, – наиболее тяжкое впечатление производит тон книги – хулиганский тон! И так, таким голосом говорят с пролетариатом, и так воспитывают людей “нового типа”, “творцов новой культуры”».

Правда, это мнение было высказано еще до революции, в разгар борьбы Ильича с «богоискателями и богостроителями», к коим принадлежал и сам Горький. Но даже с поправкой на этот фактор, нельзя не видеть, насколько благосклоннее Павлов отнесся к «философскому» труду вождя революции.

Если раньше Павлов считал большевистский эксперимент обреченным на провал, то теперь стал высказываться осторожнее: эксперимент еще не завершен, будет ли он успешным, покажет будущее. Чем была вызвана такая перемена? На этот счет есть разные мнения – от того, что Павлов был все-таки подкуплен властями, до того, что он был ими обманут. Я думаю, что объяснение лежит в иной плоскости.

Павлов страстно верил в науку и просвещение, а большевистские власти, ставившие целью «догнать и перегнать», невольно должны были ускоренными темпами развивать науку, технику, готовить кадры, способные ею владеть. Известная писательница и переводчица Рита Райт-Ковалева в молодости работала у И.П. Павлова. Она запомнила, как он сказал при ее первом посещении Колтушей в 1929 г.:

«Вы должны отдать должное нашим варварам в одном – они понимают ценность науки» .

Он твердо знал, что власть большевиков – это власть варваров; но надеялся, что благодаря науке их правление со временем сделается более цивилизованным.

Примерно в то же время, Павлов, по пути на очередной

Международный конгресс физиологов, остановился в Париже, где навестил старого знакомого В.М. Зернова. Иван Петрович пришел к нему с сыном, всегда его сопровождавшим, и своим другом из института Пастера профессором С.И. Метальниковым. Разговор был доверительный, не для посторонних ушей. Когда речь зашла о причинах смерти Ленина, Павлов сказал, что лично знаком с учеными, которые исследовали мозг Ленина; от них он знает, что в годы управления Россией вождь мирового пролетариата страдал от прогрессивного паралича мозга – последняя стадия сифилиса. Это и стало причиной его предсмертной болезни. «Советский строй он сравнивал с тремя самыми страшными болезнями: сифилисом, раком и туберкулезом. По словам Павлова, советская система страшна тем, что она старается духовно разложить человека». Иван Петрович говорил, что сам он защищен от репрессий, так как Ленин завещал «беречь Павлова», но «он опасается, что после его смерти правительство отомстит его сыну».

В перестройке доминант Павлова немалую роль играло его ближайшее окружение, в особенности – его дама сердца Мария Капитоновна Петрова.

6.

Мария Капитоновна была дочерью священника и замуж вышла за священника. Но если отец ее был искренне верующим монархистом, то муж, по ее словам, «был полный атеист, но любил Христа как великого социалиста» . Он был избран в Первую государственную думу, после ее разгона Столыпиным был ненадолго сослан в Череменецкий монастырь под Лугой. Мария Капитоновна родила ему сына Бориса. Но позднее супружеские отношения разладились. Они продолжали жить одной семьей, предоставив друг другу полную свободу.

После замужества Мария Капитоновна вела чисто светский образ жизни: балы, приемы, театры, роскошные туалеты. Но праздность ей скоро наскучила, она решила стать врачом и поступила в Женский медицинский институт. Студенткой посещала заседания Общества русских естествоиспытателей и врачей, где И.П. Павлов был председателем, но видела она его только издали – в президиуме или на трибуне.

Получив диплом врача, Мария стала работать в клинике профессора Г.А. Смирнова. Тот поручил ей проверить на животных действие некоторых лекарств, а его племянник Владимир Васильевич Савич, ассистент И.П.Павлова, привел ее в

Павловскую лабораторию. Работа проводилась в течение двух лет в неурочное время, с 6 до 10 вечера. Так как Иван Петрович вел очень размеренный образ жизни и уходил домой ровно в половине шестого, то Марию Петрову он ни разу не встретил. Когда ее работа была закончена, она пришла к Павлову поблагодарить за предоставленную возможность. Тут только выяснилось, что о ее вечерних бдениях он ничего не знал!

С ноября 1912 года Мария Петрова начала работать в лаборатории Павлова уже в урочное время. Иван Петрович сразу же стал уделять ей столько внимания, что это вызывало ревность у других сотрудников.

Но отношения между ними были сугубо платоническими. Лишь через много месяцев, совершенно неожиданно, произошло бурное объяснение. Павлов признался, что давно уже не любит свою жену Серафиму Васильевну. Она очень предана ему, семье, родила и воспитала прекрасных детей, но она не разделяет его увлеченности наукой, а для него в этом смысл всей жизни. Однажды, придя домой после какого-то особенно удачного доклада, Иван Петрович стал возбужденно рассказывать о нем сидевшей в кресле жене и вдруг заметил, что она… спит! Вот с этого времени он ее разлюбил. Мария Капитоновна, как он мог убедиться, столь же предана ему, как и его науке, и поэтому он ее полюбил и будет любить со всем пылом души. Он понимает, что это звучит странно, ему уже седьмой десяток, она годится ему в дочери. Но это так, и с этим ничего не поделаешь!

Мария Капитоновна всем сердцем отозвалась на его порыв.

В годы гражданской войны она потеряла мужа и единственного сына, воевавшего в Белой армии; но, несмотря на тяжелые утраты, она считала себя самой счастливой женщиной на свете. Ведь у нее был возлюбленный Иван Петрович и любимая работа, которую она проводила под его руководством, вместе с ним и рядом с ним.

Из ее дневников-воспоминаний встает образ крайне экзальтированной особы, очень настойчивой, твердой в своих убеждениях, умевшей отстаивать их с большим напором и страстью.

Кроме Ивана Петровича она беззаветно любила еще одного человека – Иосифа Виссарионовича Сталина. Она считала его мудрым политиком, великим полководцем, заботливым другом и отцом советского народа. Павлов охотно с ней обсуждал не только опыты на собаках, но и весь круг вопросов, которые его волновали. Неизбежно всплывала тема большевиков и их вождя.

По свидетельству Марии Капитоновны, весной 1935 года, выздоравливая после тяжелой пневмонии, которой 85-летний Павлов

проболел почти всю зиму, «Ив[ан] П[етрович] воскликнул: “А большевички желали меня уже хоронить, а я вот взял да и выздоровел”. И он назвал лиц, желающих его похоронить. Это А.Д. С[перанский], Л.Н. Ф[едоров], Н.Н. Н[икитин] и др. А.Д. С[перанского] он тоже считал большевиком».

Услышав такое резкое и, по ее мнению, крайне несправедливое суждение, Мария Капитоновна «вся закипела от негодования и в запальчивости ему сказала: не большевички, Ив[ан] П[етрович], вас хоронили! Столько внимания, любви и заботливости было проявлено к вам во время вашей болезни. Они любят вас и очень желали вашего выздоровления, несмотря на то, что вы ругатель их, но честно и открыто признающий все их положительные стороны».

А.Д. Сперанский вступил в партию уже во время войны, но «беспартийным большевиком» он стал много раньше, так что Иван Петрович был прав, ставя его в один ряд с партийцами Л.Н. Федоровым и Н.Н. Никитиным. Схватки боевые с Марией Капитоновной из-за «большевичков» у него, вероятно, происходили и раньше. От наступления Иван Петрович все чаще переходил к обороне, постепенно отступая со своих бескомпромиссных позиций.

В 1932 году, во время XIV международного конгресса физиологов в Риме, Павлов предложил следующий конгресс провести в СССР. Это была сенсация! Международные конгрессы физиологов проводились каждые три года; Москва, стремясь выйти из политической изоляции, давно предлагала свое гостеприимство, но Павлов был категорически против. При его колоссальном авторитете это имело решающее значение. И вдруг – такой крутой поворот!

Не исключено, что проведение конгресса в СССР он рассматривал как шаг на пути постепенного цивилизования варварского режима. Или уступил нажиму ради своих близких, которые, после его кончины, останутся в полной власти того же режима.

По свидетельству М.К. Петровой, «в 1935 году, в свою последнюю поездку за границу перед Всемирным физиологическим конгрессом, он по дороге в Англию, чтобы очень не утомляться после болезни, остановился в Риге (вместе со своим сыном Владимиром Ивановичем) у одного партийца. Когда разговор коснулся политического положения нашего Советского Союза, он сказал: “Счастье … нашей родины, что во главе у нас стоит именно Сталин”. Иван Петрович по своей привычке приходить ко мне на другой день своего возвращения из-за границы, рассказывая обо всем, коснулся и этого. Сейчас Владимир Иванович подтвердил это, сказав, что

это было мною записано буквально слово в слово, так как он сам присутствовал при этом разговоре».

Не знаю, в какой мере можно верить такому свидетельству, но вряд ли это чистая выдумка. В семье Павлова, по понятным причинам, М.К. Петрову не жаловали, но старший сын Ивана Петровича Владимир Иванович составлял исключение: он с ней поддерживал самые добрые отношения.

7.

На проведение XV международного конгресса физиологов было ассигновано два миллиона рублей – по тем временам огромная сумма. Открытие Конгресса и первое пленарное заседание (9 августа 1935 года) проходили в Таврическом дворце. Шесть дней шли секционные заседания, было заслушано 485 докладов на пяти языках. Рабочими языками конгресса были русский, английский, французский, немецкий и итальянский. Работала бригада первоклассных переводчиков, кресла были оборудованы техникой для синхронного перевода. По окончании рабочих заседаний всех участников конгресса, с максимальным комфортом, перевезли в Москву. Заключительное пленарное заседание состоялось в Большом зале консерватории, затем был устроен торжественный прием в Кремле. Президент конгресса 85-летний И.П.Павлов, увенчанный короной «старейшины физиологов мира», подняв бокал с пенящимся шампанским, сказал:

«Вся моя жизнь состояла из экспериментов. Наше правительство тоже экспериментатор, только несравненно более высокой категории. Я страстно желаю жить, чтобы увидеть победное завершение этого исторического социального эксперимента». Сказав это, он под бурные аплодисменты провозгласил тост: «За великих социальных экспериментаторов!»

А ведь письмо Молотову, в котором он обвинял «социальных экспериментаторов» в том, что они «сеют не революцию, а фашизм», было написано всего за насколько месяцев до этого тоста! Оно было реакцией на волну репрессий, обрушившихся на ленинградцев после убийства Кирова, когда десятки тысяч ни в чем не повинных людей были арестованы и высланы без следствия и суда, только из-за «неправильного» происхождения. В ответном письме, согласованном со Сталиным, Молотов «удивлялся»: как это Павлов позволяет себе «делать категорические выводы в отношении принципиально-политических вопросов, научная основа которых [ему], как видно, совершенно неизвестна». Он заверял, что

«политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен». Трудно сказать, чего в этом ответе больше, – цинизма или лукавства. Главари большевиков отнюдь не стыдились вмешиваться в научные проблемы, хотя ничего в них не смыслили, – в генетику, агрономию, педологию, во многие гуманитарные области. Правда, до физиологии их щупальца тогда еще не дотянулись, но то было вопросом времени. Фундаментальная разница была в том, что физиологи экспериментировали на собаках, лягушках, морских свинках, тогда как власть проводила свои вивисекции на миллионах живых людей.

Павлов, с присущей ему настойчивостью, снова написал «многоуважаемому Вячеславу Михайловичу». Он ручался своей головой, «которая чего-нибудь да стоит, что масса людей честных, полезно работающих, сколько позволяют их силы, часто минимальные, вполне примирившихся с их всевозможными лишениями, без малейшего основания (да, да, я это утверждаю) караются беспощадно, не взирая ни на что, как явные и опасные враги правительства, теперешнего государственного строя и родины. Как понять это? Зачем это? В такой обстановке опускаются руки, почти нельзя работать, впадаешь в неодолимый стыд: “А я и при этом благоденствую».

Это письмо датировано 12 марта 1935 года. Обращает на себя внимание наивный вопрос: *«Как понять это? Зачем это?»*

А за тем, что большевистским экспериментаторам мало было заставить людей примириться с их диктатурой. Цель их была в том, чтобы «выработать коммунистического человека из материла капиталистической эпохи всеми методами, начиная от расстрелов», как формулировал хорошо разбиравшийся в бабочках академик Бухарин. Живого, любящего, думающего, радующегося, страдающего человека требовалось превратить либо в робота-энтузиаста, заранее готового ликовать от любого начинания и от каждого слова вождей, либо в мертвеца. Потому, кстати, большевики не следовали примеру императора Калигулы и не назначали своих жеребцов сенаторами или академиками: им надо было добиться, чтобы сами академики избрали этих жеребцов.

Однако в отношении Павлова продолжала действовать охранная грамота Ильича. Ссориться с ним было нельзя. На второе письмо Молотов ответил в примирительном тоне и разъяснил, что Ленинград припограничный (!) город, потому-де в нем приняты «специальные меры против злостных антисоветских элементов».

При этом он признавал, что возможны «отдельные ошибки, которые должны быть выправлены». Павлов ухватился за это признание и написал главе правительства еще несколько писем – последнее за два месяца до смерти. Он указывал на «отдельные ошибки» в отношении безвинно пострадавших людей, которых лично знал и за которых ручался. Круг этих лиц очень широк. Это и родственники жены его сына; и два сотрудника его лаборатории с семьями; и два сына 80-летней старухи, оба инженеры-путейцы – их мать Павлов знал с юности, еще по Рязани; и вдова археолога, работавшего в Эрмитаже; и бухгалтер, подрабатывавший преподаванием немецкого языка; и 77-летняя племянница И.М. Сеченова, «лишенка» из-за того, что была вдовой генерала, хотя муж ее вышел в отставку еще в 1905 году и почил в 1918-м.

ВСЕ ходатайства Павлова незамедлительно удовлетворялись. Это, вероятно, тоже послужило стимулом поднять тост «за великих социальных экспериментаторов».

8.

Большевики распорядились его тостом очень умело – такие шахматные партии они разыгрывали по-гроссмейстерски.

В начале февраля 1936 года 86-летний Павлов снова простудился и заболел пневмонией, на этот раз оказавшейся роковой. Проболев меньше месяца, он скончался в Колтушах 27 февраля.

Будучи до мозга костей рационалистом и атеистом, он перед смертью пожелал, чтобы его отпели в церкви. Это был его последний протест против варварства. Но и в этом власти его переиграли. Церковная служба в Колтушах прошла незаметно, почти по секрету. А затем «гроб с его телом передали большевикам. Большевики перевезли его в Потемкинский дворец и там выставили в большом зале. У гроба был установлен почетный караул из научных работников вузов, втузов, научных институтов, членов пленума Академии и т.д. Стояли по четыре человека по углам стола с гробом, и этот караул сменялся каждые 10 минут. Вдоль стены зала стоял караул из матросов, державших в руках винтовки с примкнутыми штыками "на караул". Это была внушительная картина: мертвая тишина, старики у стола с гробом и застывшие, как бы бронзовые фигуры матросов», – свидетельствовал один из участников церемонии.

У свежей могилы Н.И. Бухарин произнес речь, в которой бесстыдно прихватизировал великого ученого:

«Павлов наш целиком, и мы его никому не отдадим!».

Сам Бухарин уже был на грани превращения из «любимца партии» в заговорщика, террориста, шпиона, изменника родины, но именно он заложил основы мифа, превратившего своеобразное, единственное, ни на кого не похожее лицо великого естествоиспытателя в густо загримированное олицетворение того, что нужно властям.

Одну из первых попыток соскоблить коросту из затвердевшего грима предпринял Василий Лаврентьевич Меркулов – в комментариях к двухтомнику под названием: «Летопись жизни и деятельности академика И.П. Павлова». Первый том был посвящен дореволюционному периоду – он вышел в свет без препятствий. Второй том не появился. «Этот прекрасный том» был обнаружен «в материалах личного архива Меркулова» .

Вторую попытку предпринял известный историк науки В.Д. Есаков в 1972 году – в докладе в Комиссии по документальному наследию И.П.Павлова. Опубликовать доклад удалось только 17 лет спустя, в разгар горбачевской гласности.

9.

А.А. Ухтомский высоко ценил работы Павлова и его школы – это видно, например, из его большой обзорной статьи «К пятнадцатилетию советской физиологии (1917-1932)» . Достижениям школы И.П.Павлова и дочерних школ (Орбели, Сперанского, Разенкова) в ней уделялось больше места, чем школе Введенского-Ухтомского. Алексей Алексеевич подчеркивал, что эти две школы, как две команды проходчиков, роют туннель с разных сторон навстречу друг другу, и близок час, когда они соединятся.

Вместе с тем в дневнике Ухтомского есть такая запись, сделанная уже после смерти И.П.Павлова:

«Традиция И.П.Павлова сложилась явочным порядком. Персональное влияние этого прекрасного труженика собирало около него людей и завязывало в коллектив лиц, подчас очень различных между собой. И это давало многим счастье чувствовать себя не одинокими и иметь возможность говорить от лица “мы”. И не столько открытия И.П.Павлова, вносившиеся им в науку новые понятия, новые пути анализа – создали ему его положение, сколько *моральное значение его лица, как работника и собирателя работников.* Мы знали, что пока И.П. жив, сложившаяся около него группа корректируется в своем поведении его лицом, и из морального страха перед И.П. невозможны для участников группы те подлости, которые доступны этим людям, как индивидуально-

стям, каждому в отдельности. <…> Со своей стороны я считал бы нужным поддерживать и сейчас коллективность работы около имени И.П. Павлова, ибо оно и посейчас заставляет *совеститься* его учеников, *обуздывает* и сейчас их поведение, а затем *сохраняет очень много намеченных задач*, ожидающих нового таланта».

Из этой записи видно, что Ухтомский относился к Павлову без подобострастия, хотя высоко ставил его нравственный авторитет. Неприятие у него вызывало равнодушие, даже презрение Ивана Петровича к философии, в особенности к диалектике. В значительной мере это объяснялось тем, что коммунисты агрессивно навязывали философию «диалектического материализма» как обязательную догму. Но Ухтомский, с юности высоко ценивший и почитавший диалектику Гегеля, полагал, что Павлов вместе с пеной выплескивает ребенка.

«И.П.Павлов говорит, что диалектическое мышление есть удел сумасшедших или жуликов! – писал он в дневнике. – Всемирная история убеждается в том, что оно является еще особенностью исключительных умов среди человечества. Нет ничего удивительного в том, что не принадлежащий ни к одной из трех названных категорий академик Павлов оказывается совершенно некомпетентным в вопросе о диалектике и наклонен всецело ее отрицать».

О скептическом отношении Ухтомского к некоторым сторонам «учения Павлова» говорит и такая запись:

«Одно из самых вредных настроений человека – это *иллюзия всепонимания*! Работники по условным рефлексам [школа Павлова] переживали это внутреннее убеждение, что они до тонкости понимают те силы, которые управляют текущим внутренним миром человека и мотивами его поведения. Не понимая хорошенько своих ближайших опытов на собаках, они храбро перерабатывали свои умозаключения на внутренний мир человека. И это делало их *невеждами по преимуществу*».

Если Ухтомский, отдавая должное достижениям Павлова и его школы, относился со скептицизмом к их претензиям на всезнание, то павловцы не оставались в долгу. Разница была в том, что он свои претензии высказывал в дневнике, иногда в письмах к двумтрем доверенным корреспондентам, а они, обладая большой властью в науке, не пренебрегали активными действиями. Особенно это обнаружилось при подготовке и в ходе XV международного конгресса физиологов.

Приличия, конечно, были соблюдены. В повестку дня первого пленарного заседания был включен доклад Ухтомского "Физиологическая лабильность и акт торможения", ставший одним из ключевых. Три доклада сделал один из ведущих учеников

Ухтомского Н.В. Голиков. Выступали с докладами и другие ученики Ухтомского.

Однако «И.П.Павлов и еще более Л.А. Орбели принимали все зависящие от них меры к тому, чтобы оттеснить нас и университетскую физиологию от сколько-нибудь заметного участия в Конгрессе, – жаловался Ухтомский в письме своей ученице Фаине Гинзбург. – В Организационный комитет от нас не было введено никого! Орбели доказывал везде, где мог, что в Университетскую лабораторию конгрессистов пускать не следует; наконец, во время самого Конгресса он делал все, что мог, для предотвращения поездок к нам и вникания в нашу работу. Очень странно и загадочно наблюдать поведение этих господ в отношении нас! Со своей стороны я предпочитал вести себя и наши дела так, как будто мы совсем не замечаем подвохов и интриганства с их стороны! Вы знаете, что я со своей стороны всегда относился к О[рбели] дружелюбно и старался поддерживать его, когда у него бывали затруднительные условия».

По свидетельству В.Л. Меркулова, «вообще ученики И.П.Павлова и Л.А. Орбели (in toto) в своей массе относились к моему учителю более чем сдержанно – и даже с ехидством!». Василий Лаврентьевич вспоминал, как в 1962 году академик Е.Н. Павловский, крупный паразитолог, «огорошил» его, рассказав о том, что Иван Петрович Павлов, перед смертью, просил прощения «за то зло, что он причинил моему учителю».

Сам факт не был новостью для Василия Лаврентьевича: он знал о «покаянии» Павлова еще от самого Алексея Алексеевича и от близких к Павлову физиологов. «Огорошило», видимо, то, что академик Павловский, относительно далекий от этого круга, тоже знал о покаянии Павлова и помнил о нем даже четверть века спустя.

Семен Резник *– писатель, историк, журналист, автор исторических романов, научно-художественных биографий, историко-публицистических книг о России последних двух столетий. Эмигрировав в США, работал на радиостанции Голос Америки.*

Широко известна его книга “Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А.И. Солженицына”, вышедшая в Москве двумя изданиями.

Недавно увидели свет его новые книги: “Сквозь чад и фимиам”, “Запятнанный Даль”, “Непредсказуемое прошлое (Выбранные места из переписки с друзьями)”.

Новая его изданная работа посвящена 100-летию процесса Бейлиса.

МИХАИЛ ТУРОВСКИЙ

АФОРИЗМЫ

Когда ноги слабеют, время начинает бежать быстрей.

История повторяется. С евреями она повторяется чаще!

Когда я был молод, женщины могли меня взять голыми руками.

Я бы позволял себе лучшие сны, если бы жена не подсматривала.

Мы все вышли из гоголевской шинели, но не все явились с повинной.

Если не знаешь, для чего живёшь, говори, что живёшь для демографии.

Выдавливал из себя раба по капле и принимал по десять капель перед едой.

Нет такого таланта в России, по которому не прошлись бы серпом или молотом.

Чем острее у человека ум, тем сильнее ранит он своего владельца.

Разменивающих талант обычно обсчитывают.

Чем длинней тупик, тем он больше похож на дорогу.

Всё, что мы теряем в жизни, плетётся за нами вслед.

Серое - самая агрессивная Среда.

Если бы жизнь не давала трещин, в ней не за что было бы зацепиться.

Если у тебя много точек опоры, незачем переворачивать мир.

Адам и Ева. Первая эмиграция из рая.

Время - деньги, временами фальшивые.

Умный полиглот все языки держит за зубами.

О вкусах уже не спорят. Спорят о привкусах.

Когда молчат музы, говорят жёны художников.

Искусство для искусства тоже требует жертв.

Мы говорим на многих языках. Плачем на родном.

Философу, конечно, мало надо. Но пока им станешь...

Когда ноги слабеют, время начинает бежать быстрей.

Очередь подобна скорпиону. Весь яд у неё в хвосте.

Если подумать - мы такие умные, но если послушать…

Глупость и талант от бога. Остальное - от лукавого.

Дайте мне свободу! Я сам хочу разочароваться в ней.

Мог бы любить всех людей, если бы хорошо не знал себя.

Болезнь всегда предпочитает умного человека здоровому.

Фрейдизм - это подкоп под человека. С неприличной стороны.

Да здравствуют вечные орудия пыток: Жизнь, Любовь, Смерть.

Многоточие - это множество точек зрения, потерявших дар речи.

Настоящая мысль всегда задерживается, прежде чем прийти в голову.

Людей нужно постоянно пугать будущим, чтобы настоящее казалось им терпимым.

Вначале было слово. Потом он хотел отказаться от него, но дело уже имело номер.

От дерьма дерьма не ищут.

Михаил Саулович Туровский *- один из выдающихся мастеров современного изобразительного искусства. Народный художник Украины, член национальной Академии искусств. Родился в Киеве в 1933 г. Его картины представлены в коллекциях многих музеев мира и в престижных частных коллекциях. Выставки его работ проходили в Нью-Йорке, Париже, Иерусалиме, Венеции, Мадриде, Женеве… Особенно активно работает в области станковой и книжной графики. Является автором иллюстраций к произведениям В. Стефаника, Л. Украинки, И. Франко, Шолом-Алейхема и др.*

С 1979 живет и работает в США (Нью-Йорк).

С середины 60-х годов прошлого века в "Литературной газете", в журнале "Вопросы литературы" и других изданиях стали появляться его афоризмы. Находясь в эмиграции, он публикует афоризмы в русскоязычных газетах и журналах Америки, Европы, Израиля. Издательство "Цикута" в Нью-Йорке двумя изданиями выпустило книгу афоризмов Туровского "Зуд мудрости". Она переведена на английский язык.

ВРЕМЯ & МЕСТО

АВТОР ОБЛОЖКИ

ГРАЖДАНИН МИРА ВАЛЕРИЙ БЕЛЕНИКИН

Любой, кто держал в руках номера нашего журнала, неизменно обращал внимание на "ноу-хау" издания: постоянная смена цветных обложек. В каждом номере обязательно представлен новый художник. Обязательно выходец из бывшего СССР, ныне эмигрант.

Мне часто задают вопрос: каким образом удается поддерживать такую разнообразную и яркую палитру работ живописцев? Не могу дать однозначный ответ. Часто помогает Его Величество Случай. Для примера расскажу историю обложки нынешнего номера.

...Я очень люблю по выходным посещать в окрестностях Нью-Йорка старинные, не тронутые современной архитектурой уютные американские городки. К счастью, такие еще сохранились. Когда впервые попадаешь в подобный населенный пункт - ощущение, будто время остановилось, все пронизано покоем и умиротворением. Иногда же, напротив - ощущение, что попал на съемочную площадку очередного вестерна. Сейчас из-за угла выскочит Клинт Иствуд и начнется стрельба, погоня...

К таким заветным уголкам американской глубинки я отношу городок Ламбертвилл в соседнем штате Нью-Джерси, в часе езды от Нью-Йорка.

Казалось, здесь все знакомо. Знаешь каждую сувенирную лавку и антикварный магазин. Ан нет, всякий раз открываешь что-то новое и удивительное.

...Последним открытием была галерея художника Валерия

Беленикина. Эмигрантом его можно назвать с трудом. Скорее, он Гражданин Мира. За свои пятьдесят с небольшим лет Валений успел очень многое. Выпускник Московского художественного института имени Сурикова, он жил и работал во многих странах.

Его творческий почерк оригинален. В.Беленикин успел попробовать свои силы в мозаике, фреске, стенописи, станковой живописи. Он работает в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта. В работах Валерия много иносказаний. Каждой картиной мастер дает аудитории пищу для размышлений. Покинув галерею, нет-нет и мысленно возвращаешься к увиденному, желая осмыслить замысел художника.

С 1998 года он живет и работает в США, где его творчество получило значительное признание.

Работы Валерия Беленикина живут своей жизнью во многих странах. Их можно увидеть в музеях Москвы и Петербурга, Вены и Мельбурна. Картины художника находятся во многих частных коллекциях: России, Франции, Германии, США, Италии, Японии,Бельгии, Аргентины, Сирии, Австралии,Голландии, Швеции, Швейцарии, Греции…

И. Ш.

"В конечном счете, каждый литератор стремится к одному и тому же: настигнуть или удержать утраченное и текущее Время… Ибо то, что сказано, никогда не конец, но край речи, за которым - благодаря существованию Времени - всегда нечто следует. И то, что следует, всегда интереснее уже сказанного…"

Иосиф БРОДСКИЙ. **"ПОЭТ И ПРОЗА"**

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Уважаемые читатели!

Международный литературно-художественный и общественно-политический журнал "ВРЕМЯ И МЕСТО" объемом до 300 стр., выходит 4 раза в год.

Цена подписки на год (4 выпуска) - $50 в год для жителей США и Канады, включая доставку. Жителям США и Канады, Австралии и Новой Зеландии дляо формления подписки следует присылать оплату (чек, money order) на имя *Shikhman Publishing* по адресу редакции журнала:

Shikhman Publishing
1864 Clove Rd., Staten Island, NY 10304, USA
Справки по телефону: 718-815-5000

Помните, что, оформляя подписку, вы должны указать ваше имя, фамилию и точный почтовый адрес!

Цена годовой подписки для университетов и библиотек США, России, Израиля, стран Европы, а также Австралии и Новой Зеландии - $84, включая доставку.

Розничное распространение журнала проводится в США, Германии, Франции, Англии, Канаде, Израиле и России.

Желающих приобрести комплект журналов за 2007-2013 годы по сниженным ценам просим обращаться по телефону (718) 815-5000.

ВРЕМЯ И МЕСТО

ПОДПИСНОЙ КУПОН

международный
литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Цена подписки на год (4 выпуска) - $50, включая доставку.
Для университетов и библиотек в США и других странах - $84, включая доставку.

Высылаю чек/money order на сумму: _____

Full Name _____

Street _____

City _____ State _____ Zip _____

Country _____ Phone _____